

Андрей Савельев

ДИКТАТУРА И ТИРАНИЯ

Немецкие теории и русские смыслы. По книге Карла Шмитта «Диктатура»

СОДЕРЖАНИЕ

Насколько священна Конституция?	1
Разнообразие представлений о диктатуре	5
Диктатура и монархический принцип	8
Мнимая рациональность политехнологии	10
Политический миф диктатуры	13
Либеральный прагматизм Локка и Монтескье	16
«Левый» романтизм: от разделения властей к диктатуре.....	19
Абсурд руссоизма и его воплощение	21
Учредительная и суверенная диктатура	25
Статус чиновника: диктатура и тирания	28
Диктатура против мятежа	31
Заключение	33

Правовые теории Карла Шмитта для нас являются важным источником аргументов и путеводной нитью при планировании правовых реформ и политических изменений, призванных освободить нацию из-под гнета бюрократии и олигархии. Исследование Шмиттом правовых основ диктатуры ценно тем, что этот этап переход от либеральной подделки под государство к русскому национальному государству для нас неизбежен. Национальная диктатура, как показано Иваном Ильиным, как раз и является переходным этапом, в котором разрешаются многие противоречия прежних правовых норм, а также изживается все, что в них бесполезно или вредно для нации.

Насколько священна Конституция?

Конституция 1993 года лишь по форме представляется священным. Сотни законов, которые предписывала принять Конституция, не появились даже в виде проектов. Пренебрежение Конституцией (даже такой аморфной, как ельцинская) носит характер саботажа. За все годы ее существования не приняты законы о Совете Безопасности РФ (который остается вне поля правового регулирования, является тайной сектой на государственном содержании) и о Конституционном Собрании, которое одно только и может менять Конституцию. При этом Конституция не раз была произвольно изменена без всякого соотнесения с законом: когда менялись названия субъектов РФ, их границы, их число, когда менялись сроки полномочий Президента РФ и Государственной Думы.

Правящая группировка долго колебалась, не начать ли очередную конституционную реформу? Наступали времена, когда-либо близкий к власти политик, либо

представитель президента не стеснялись заявить что-то вроде: «Конституция – не икона». Но потом было решено, что незаконные действия проще оправдать, чем исправлять закон, который за несколько лет был чудовищно запутан и лишен какой-либо связи с исходной конституционной концепцией.

Действительно, Конституция – лишь документ, который создан людьми. Как Основной закон, она должна обозначать концепцию государства. Но в ельцинской Конституции не было концепции, а ее двусмысленные положения, дурно переведенные с иностранных языков, превратились в конце концов в формулу уничтожения российской государственности. Текст Конституции использовался в законодательных инициативах «партии власти» ельцинского и путинского периода только и исключительно для этого.

Итак, Конституция – странный тип «священного писания», который под страхом насилия предписано исполнять гражданам, а тем, кто контролирует исполнение, предоставлены «исключительные права» на произвол. Кроме того, стоит лишь обмолвиться о диктатуре, как тут же множество перьев, обслуживающих власть, начнут толковать о посягательстве на «святое». Мол, никакой диктатуры нет, а есть только строгое соблюдение Конституции.

Совершенно аналогичная ситуация наблюдалась в Веймарской Германии, где либеральная журналистика и либеральная мысль, оправдывая произвол, измену, коррупцию и проклиная поиски выхода из перманентного кризиса, обрели свою родину и свою роль в обществе. Немцы смогли сбросить с себя режим предателей, но тут же взгромоздили на свои плечи режим диктаторский. Этот режим, пока он находился в правовом поле, решил множество политических и экономических проблем, вывел Германию в лидеры Европы. Но затем авантюризм Гитлера, болезненные фантазии о мировом господстве, подогреваемые олигархическими кругами, бросили немцев в пекло войны, где сгорели ее лучшие сыновья, убивая не менее достойных сыновей других наций и погибая от их рук. Диктатура, переродившаяся в тиранию, стала причиной гибели немецкой нации, которая теперь только в виде неясной идеи присутствует в элитарных кругах Германии и проектах экономической экспансии, заменившей военную.

Для нас урок Германии представлен не только в ее судьбе, но и в философии, которая глубоко проникла в причины и смыслы истории народов и государств. В лице выдающегося теоретика Права Карла Шмитта она пришла к тому, что понятие суверенитета более фундаментально, чем понятие государства, которое меняется от эпохи к эпохе. Суверенитет же наиболее явно выражен в режиме чрезвычайного положения, в условиях диктатуры.

О своих критиках, возмущенными уже самой мыслью исследовать институт диктатуры, Шмитт писал: «Суть их высказываний сводится к тому, что «конституция неприкосновенна»; сама их теория именуется «теорией неприкосновенности». Такие слова и мысли демонстрируют ту полную неясность, которой страдает нынешняя конституционная теория. (...) Неприкосновенность конституции означает, таким образом, только то, что каждая деталь конституционного законодательства может стать для диктатора непреодолимым препятствием в исполнении его задачи. Тем самым смысл и цели диктатуры – защита и обеспечение действия конституции в целом – искажаются до противоположности. Каждое отдельное определение конституционного закона становится важнее самой конституции; положение «Немецкое государство является республикой» (ст. 1, абз. 1) и положение «Чиновнику должна быть предоставлена возможность просматривать свое личное дело» (ст. 129, абз. 3) в равной мере рассматриваются как «сама» неприкосновенная конституция».

Конституция отличается от священного текста именно тем, что она не целостна и не в состоянии выразить духовную традицию. Ее текст не носит священного характера. Она – только преамбула к законодательству, собрание норм, которые в какой-то момент кажутся особенно важными. Но в ней есть важное и второстепенное, есть отдельные элементы более или менее долговременного действия и смысловые связи формального характера.

В условиях кризиса прекрасно видна разница между различными положениями Конституции. Ясно, что Конституция в целом важнее отдельных ее частей. А государственность важнее Конституции.

Разница между политиком и авантюристом состоит в том, что политик требует приведения закона в соответствии с интересами нации, а авантюрист оправдывает беззаконие особенностями момента. Первый случай требует диктатуры, второй ведет к перманентному беззаконию – к тирании.

Многие годы беспросветный кризис в России оправдывает беззаконие бюрократии, во власти не появляются политики, предлагающие преодоление кризиса через смену законодательной концепции, концепции государственности, которая оказалась несостоятельной.

Собственно, диктатура – это и есть конституционализм в условиях кризиса, когда спасают главное, жертвуя второстепенным. Можно пожертвовать не только рядом положений Конституции, которые диктатор обязан «заморозить» пока восстановит основы конституционного порядка, но также и Конституцией в целом. Потому что в ее принятии есть только сиюминутный смысл, а за ее пределами – смысл более высокий, чем все юридические формулы вместе взятые. В российской Конституции, как бы ни была она нелепа, есть проблески этого смысла в некоторых фразах преамбулы – народ, история, традиция... Все перепутано, изничтожено глупостями, вроде термина «многонациональный народ» и декларациями приверженности неким «общепринятым нормам», но есть понятие о «своей земле», исторически данной народу общей судьбе, исторически сложившейся государственности, памяти предков.

Шмитт отмечает всеобщность понимания необходимости чрезвычайных мер, но вписанную в законодательство уклончиво. Фактически лукавство законодательных актов о ЧП, важнейших для реализации государственного суверенитета, этот самый суверенитет и подрывают: «Почти во всех европейских странах в различных обликах проявляется один и тот же примечательный феномен: в виде открытой диктатуры, в практике законов о чрезвычайных полномочиях, в нарушениях конституции, будто бы легальных, будто бы соблюдающих предписанные формы ее изменения, в законодательстве абсолютного парламентского большинства и т.п.»

В Российской Федерации этот феномен приобрел системный характер: чрезвычайное положение легитимно не вводится, но является повсеместной политической практикой. Собственно, именно поэтому Конституция стала священной, и для нее созданы священный склеп и специальное жречество. При этом она, подобно «спящему богу», не действует ни в одном пункте. На нее не ссылаются в судах. Ее изменяют без предусмотренной процедуры в ней же – обычным парламентским голосованием. И тем не менее, это не диктатура, ибо диктатура может быть только законной. Диктатура обязательно опиралась бы на Конституцию и имела бы целью ее защиту, даже если отдельные элементы Конституции пришлось бы приостановить. И даже если бы Конституцию надо было бы пересмотреть полностью или заменить Основными законами.

Бюрократия же делает все в порядке рутины. Фактически страна десятилетиями живет в условиях ЧП, но никакого призыва, вроде «враг у ворот» или «Отечество в

опасности», из властных коридоров не звучит. А потому во власти нет никакой ответственности. Ни перед прежними, ни перед будущими поколениями. Кстати, в «ельцинской» Конституции (преамбула) ответственность предусмотрена только перед нынешними и будущими поколениями, но не перед предками. От последних осталась только память, но никаких следов их присутствия в праве.

Текст Конституции РФ объявлен священным, а смыслы бюрократия устанавливает произвольно. Не только по отношению к тексту Конституции, но и вообще в любом случае. Логические связи между текстами законов и нормативными актами или решениями судов исчезают. Возникает ситуация, когда значение текста лишено смысла, а ссылка на него – всего лишь ритуальный акт. Это не диктатура. Это тирания бюрократии.

В российском законодательстве есть понятие о чрезвычайном положении, но его введение никогда не требовалось. Тирания не имеет желания что-то обсуждать в парламенте и действует по своему усмотрению. Просто подменяя смыслы и утверждая их там, где их быть не может. Поэтому война в Чечне превратилась в спецоперацию «по наведению конституционного порядка» без военного или чрезвычайного положения. И в топку бюрократического судопроизводства брошены русские офицеры, действовавшие по обстановке – на войне как на войне. В правовом отношении они оказались в условиях мира и были приравнены к бандитам. И даже унижены по сравнению с бандитами. Тем полагались постоянные акты амнистии и даже госслужба под крылом бывших «полевых командиров». Офицерам, воевавшим против бандитов, – только тюрьма или переход на нелегальное положение. Это не диктатура, это тирания.

Здесь нам придется изменить традиционную терминологию, которой Аристотель обозначил правильные и неправильные формы государства. Для правильных форм (монархия, аристократия, полиция или демократия, по Полибию) есть также правильная форма разрешения экстраординарных ситуаций – диктатура. Для неправильных форм (тирания, олигархия, демократия или охлократия, по Полибию) также должна быть своя неправильная форма, напоминающая диктатуру, но неправовая. Такую форму удобно назвать тиранией, а первую неправильную форму государства – деспотией. Итак, у нас получаются правильные формы государства – монархия, аристократия, демократия. И соответствующая им форма ЧП – диктатура. Неправильные – деспотия, олигархия, охлократия. И соответствующая им форма ЧП – тирания. В реальности политические режимы сочетают разные идеальные формы, а сущность государственности (то есть правильность ее или неправильность) наиболее ярко отражается именно в условиях ЧП – то есть, в диктатуре или тирании.

Данный подход опирается на Платона, который считал «материнскими» формами государства, от которых произошли все прочие – демократию архаичных Афин и деспотии персидских царств. Эти формы, очевидно, максимально различны: первая «правильная» и основана на власти большинства (отметим, что это касается демоса, а вовсе не всего населения), вторая – «неправильная» и основана на власти одного. Правление в Афинах «тридцати тиранов» показывает, что тирания может быть не только властью одного, но и властью многих.

Проблема, с которой сталкивается современная Россия, состоит в том, как от тирании перейти к диктатуре. От тирании либеральной, антинациональной к диктатуре национальной. Фактически это означает возвращение в правовое поле, к правильной форме государства. И даже частичное восстановление прямого действия Конституции – в том случае, когда бюрократию надо будет уличить в антиконституционном перевороте и покарать.

И здесь есть два пути – либо учредительная диктатура, обновляющая весь порядок жизни, либо акционная диктатура, целенаправленно разрешающая конкретные

проблемы. В последнем случае Конституция не перестает действовать, ее приостановление касается только конкретного исключительного случая или правового положения, несовместимого с решаемой задачей. При этом, как замечает Шмитт, большой разницы между частным и полным приостановлением Конституции большой разницы нет. «Ведь логически положение о том, что «от права нельзя отнять какую-либо долю», должно было бы оставаться справедливым и здесь, поскольку в пределах конституционно учрежденного государства как правового понятия, нет такого территориально ограниченного пространства, которое могло бы быть выведено из сферы действия конституции, и такого временного отрезка, в котором она утрачивала бы свою действенность, или же такого круга лиц, которые, не переставая быть гражданами государства, трактовались бы тем не менее как незаконно действующие «враги» или «мятежники». Но именно такие исключения составляют сущность диктатуры и могут иметь место, поскольку при диктатуре речь идет об акционном поручении, определяемом положением дел».

Суверенная диктатура может считаться не столько предельным случаем акционной, сколько минимально необходимым набором акционных поручений, чтобы принципиально изменить политический режим, обновить облик государства, восстановить его суверенитет. Собственно, локальные чрезвычайные акции пригодны для разрешения локальных кризисов. Системный кризис разрешается только суверенной диктатурой. Тирания, напротив, системный кризис может только усугубить, поскольку неправильная форма государства ведет его к гибели. Тирания – это упорствование нелегитимной власти в выборе гибельного пути. В этом смысле всякая ее ссылка на Конституцию насквозь лживы. В неправильной форме государства право извращено, а в нашем случае – превращено в бессмысленный текст, который произвольно трактуется бюрократией.

Разнообразие представлений о диктатуре

Право присутствует незримо, когда опыт разрешения типовых ситуаций внедряется в обычай общежития людей. К правовым нормам обращаются лишь за пределами обычных ситуаций: рождение и смерть физического или юридического лица, договор, конфликт. От правовых норм отказываются, когда они не способны решить вопрос о жизни и смерти социума. Или когда бюрократия решит, что ей выгоднее править *ad hoc*. Пусть даже такое правление будет предельно неэффективным. Выгода предопределяет поведение бюрократии.

Переходные состояния являют природу права и стимулируют обращение от умозрительного законотворчества к концептуально выверенному и связанному с жизнью. Выявив признаки ЧП, мы можем без особых усилий установить, находимся ли мы в условиях диктатуры или тирании.

Действительно, как пишет Шмитт, «право есть средство для достижения цели, каковая состоит в существовании общества; когда выясняется, что правовыми средствами общество спасти нельзя, происходит вмешательство силы, которая исполняет то, что нужно, и тогда это называется «спасительным деянием государственной власти» и становится тем пунктом, где право вливается в политику и в историю. Если говорить точнее, это, скорее, пункт, где право раскрывает свою истинную природу и где проявляется его чисто целевой характер, который прежде был ослаблен, возможно, тоже из соображений целесообразности. Тогда войну с внешним врагом и подавление мятежа внутри страны надо было бы считать не исключительными ситуациями, а идеальным случаем нормы, когда право и государство с непосредственной силой обнаруживают свой внутренний целевой характер».

С одной стороны, право являет себя в исключительных ситуациях, с другой – более или менее скрыто обеспечивает повседневность. Но ведь повседневность тоже может постепенно переродиться в губительный процесс. Именно это мы и видим: в России либеральное законодательство, постепенно внедрившись всюду, ведет свою разрушительную работу – разрывает ткань общественных отношений, убивает традицию, попирает обычай. Уже само это состояние требует диктатуры – разрыва рутины и очищения права от гнилостных либеральных напластований.

Волевой акт преодоления губительного состояния может не поспеть. И тогда болезнь будет исторгнута из национального организма другим путем – в условиях, когда война или мятеж ставят человека на грань жизни и смерти. Тогда либеральная рутина будет равнозначна немедленному самоубийству. Те, кто захочет выжить, сами перейдут к поведению, в котором не будет ничего от либеральных догм. И тогда диктатура родится «снизу» – как всеобщий образ жизни, как естественная реакция общества, всех людей, которые принимают иные «правила игры», чем те, что были приняты в условиях разлагающего душу порядка – тирании. Это диктатура – мера для исключительного состояния, принятая в конкретных целях и на ограниченный срок.

Исследуя либеральные взгляды на диктатуру, Шмитт заметил, что его критиков пугает уже сам термин. Они боятся жить в условиях диктатуры и приходят в ужас оттого, что даже на время правовое государство может перестать быть реальностью. «Если диктатура с необходимостью является «исключительным состоянием», то перечислив то, что понимается под нормой, можно указать различные возможности для ее понятия: в государственно-правовом отношении она может означать упразднение правового государства, причем последнее, в свою очередь, тоже может пониматься по-разному – как такая разновидность осуществления государственной власти, при которой вмешательство в сферу гражданских прав, в право личной свободы и собственности допускается только на основании закона; или же как конституционная, возвышающаяся даже над законным вмешательством гарантия известных прав и свобод, которые отменяются при диктатуре. Если государство обладает демократической конституцией, то любой происходящий при исключительных обстоятельствах отказ от демократических принципов, любой акт государственной власти, осуществляемый без согласия большинства, может быть назван диктатурой. Если такое демократическое осуществление власти выдвигается в качестве общезначимого политического идеала, то диктатурой становится всякое государство, не придающее значения этим демократическим принципам».

В такую путаницу заходят либеральные теоретики. Фактически, для них любое государство рано или поздно определяется как диктатура. Прежде всего, свое собственное. Поэтому логичное развитие либеральных взглядов – антигосударственный нигилизм. Если волю большинства в каждом случае формально выяснить не удастся, то нет необходимости в институтах, которые эту волю попирают. И более того, если воля большинства направляется против либеральных воззрений, то тем хуже для нее – даже государство, основанное на этой воле и учрежденное по-либеральному, для либерала неприемлемо. «Если либеральный принцип неотчуждаемых прав и свобод человека принимается в качестве нормы, то нарушение этих прав должно расцениваться как диктатура и в том случае, если она основывается на воле большинства. Таким образом, диктатуру можно считать исключением как из демократических, так и из либеральных принципов, при том что последние могут и не совпадать друг с другом».

Иначе говоря, диктатура у либерала и диктатура у национал-демократа определяются по-разному и имеют разную (даже противоположную) моральную оценку. Диктатура для либерала непереносима (зато вполне приемлема скрытая за либеральными лозунгами тирания), для национал-демократа она необходима как

правовой институт чрезвычайного положения и подтверждения суверенности государства.

Шмитт пишет: «То, что должно считаться нормой, может быть позитивно определено либо действующей конституцией, либо неким политическим идеалом. Поэтому осадное положение называется диктатурой ввиду отмены позитивных конституционных определений, тогда как с революционной точки зрения диктатурой может быть назван весь существующий порядок, а понятие диктатуры – переведено из государственно-правовой плоскости в политическую. А там, где диктатурой (как в трудах теоретиков коммунизма) называется не только подлежащий устранению политический строй, но и поставленное в качестве цели собственное политическое господство, сущность понятия претерпевает дальнейшее изменение».

Здесь прослеживается иная противоположность: для «левака» диктатура является целью и средством осуществления власти (диктатура пролетариата), для националиста – только переходной формой от исчерпавшей себя правовой системы к новой, более эффективной и здоровой. Это различие требует и различия в терминах. Пролетарская диктатура, как известно, была основана только на насилии. Диктатура национальная может быть основана только на праве. Соответственно, пролетарскую (или бюрократическую) реакцию на ЧП нам придется назвать тиранией, а не диктатурой.

Далее Шмитт указывает: «Собственное государство, в его целокупности, называется диктатурой потому, что является инструментом перехода к чаемому состоянию общественной жизни, а его оправдание составляет уже и не просто политическая или даже позитивная конституционно-правовая, а философско-историческая норма. Благодаря этому диктатура – поскольку она, как исключительное состояние, сохраняет функциональную зависимость от того, что ей отрицается, – тоже становится философско-исторической категорией».

Таким образом, от правовой номы мы приходим к мировоззрению, к политической науке, в которой определение «диктатуры» носит не правовой, а идеологический характер. Диктатура нации или тирания пролетариата (охлоса), тирания бюрократии, тирания олигархии, деспотическая тирания? Изживание тирании или введение диктатуры вследствие насущной необходимости?

Разнообразие при использовании понятия «диктатура» настолько широко, что требует зафиксировать теоретическую несостоятельность текущих подходов: «В наиболее общем смысле любое отклонение от того состояния, которое представляется подобающим, может быть названо диктатурой, так что слово это означает отклонение от демократии, то – от конституционно гарантированных прав и свобод, то – от разделения властей ли (как в философии истории XIX в.) от органического развития предмета. Конечно, понятие это всегда остается в функциональной зависимости от действующей или предлагаемой конституции».

Итак, националисты предлагают иной государственный и общественный строй (с конституцией или без оной – не так важно) – основанный на традиции и защите полноценной личности от произвола узурпатора-чиновника, «денежного мешка» и толпы. При этом «технология» перехода требует сохранения права как такового, недопущения срыва в хаос. Следовательно, избавление от болезни «левизны» (либеральной или социалистической) требует сдержанности: вместо сноса всей правовой системы, последовательное ее сохранение в одних (приемлемых) разделах и последовательное устранение в других, которые должны быть заменены иными установками.

Национальная диктатура не должна отменять конституцию либералов, а лишь приостановить некоторые ее разделы, чтобы легитимным способом заменить одно

государственное устройство на другое. Иными словами, диктатура – это средство сохранить легитимность, континуитет (правопродолжение), разрешить вопрос о том, чтобы все правовые трансформации связались в единую историческую концепцию.

Диктатура и монархический принцип

Древний Рим знал диктатуру как правовое установление. Римская Республика знала диктаторский статус полководцев при отражении нашествий врага. На шесть месяцев диктатор приобретал царскую власть над Римом и становился его спасителем. А потом слагал свои полномочия. Позднее диктаторские полномочия получали консулы, которые могли не связывать себя никакими правовыми ограничениями ради спасения республики и решительно подавляли мятежи. Когда политические дразги достигли апогея (в 82 г. до н.э.), Сулла был провозглашен диктатором на неопределенное время «для наведения порядка в республике». В 46 г. диктатором стал Цезарь. В конце концов, пожизненно. По названию это была диктатура, по правовому статусу – постоянно действующий магистрат. Но все же не монархия и не тирания. При всей пышности почестей, отдаваемых Цезарю, он не был царем. При всей карикатурности некоторых обветшалых институтов власти в Риме, они не были разогнаны, все решения принимались законно. Поэтому Цезарь не был и узурпатором. Превращение республики в принипат – фактически в монархию – произошло позднее, и совершенно законным путем. Обратный процесс – учреждение республики на месте монархии – никогда не бывает законным, никогда не обходится без узурпации.

Карл Шмитт пишет: «...диктатура есть мудрое изобретение римской республики, диктатор же – чрезвычайный римский магистрат, должность, введенная после изгнания царей для того, чтобы в дни опасности имелась сильная верховная власть (*imperium*), которая, в отличие от чиновной власти консулов, не ущемлялась бы ни коллегиальностью, ни правом вето народных трибунов, ни апелляцией к народу. Задача диктатора, назначаемого консулом по поручению сената, состоит в том, чтобы устранить ту опасную ситуацию, которая была причиной его назначения, т. е. он должен либо вести внешнюю войну (*dictatura rei gerendae*), либо подавить восстание внутри страны (*dictatura seditionis sedandae*); позднее его стали назначать и для разных особых событий, например, для проведения народного собрания (*comitiorum habendorum*), для вбивания годового гвоздя (*clavi figendi*), каковое в религиозных целях должно было производиться верховным претором, для ведения следствия, установления праздничных дней и т. п. Диктатор назначается на шесть месяцев, но, если он выполнил порученное ему дело, слагает свои полномочия еще до истечения этого срока – таков, по крайней мере, был похвальный обычай в старые республиканские времена. Он не связан законами и, подобно царю, располагает неограниченной властью карать и миловать. На вопрос, ослаблялась ли с назначением диктатора чиновная власть прочих магистратов, отвечают по-разному. Обычно в диктатуре видели политическое средство, с помощью которого патрицианская аристократия стремилась удержать свое господство в борьбе с демократическими притязаниями плебса. Историческая критика дошедших с тех времен сообщений, конечно, отсутствовала. Поздние диктатуры Суллы и Цезаря чаще всего рассматривались в единстве с диктатурой ранних времен, как нечто хотя и отличающееся от нее политически («по тираническим последствиям»), но тождественное в государственно-правовом режиме».

Римляне прекрасно знали, что диктатура сходна с царской властью. Но это был контролируемый статус, обусловленный множеством других правовых установлений и просто обычаев, которые не позволяют ставить знак равенства между диктатором и царем. Напротив, диктатор – это гарант республики, в которое демос оставался сувереном. Пусть это республика поздняя, уставшая от политики, республика упадка. Диктатор не позволял этому упадку разрушить государство. Он –

олицетворение сначала зрелости, а потом и старости республики, которая стала Империей и была прославлена в истории как Империя – зрелое и мудрое оформление целой эпохи.

Дискуссии правоведов последующих эпох выбирали: считать ли римского диктатора магистратом с чрезвычайными полномочиями или полноценным сувереном. Хотя между диктатором и сувереном трудно найти различия, все же диктатор в своем легитимно закрепленном отклонении от закона не мог быть безрассуден – он не учреждал новую правовую систему, а сохранял ее, укрепляя своим статусом.

Фундаментальность монархического принципа правления проявляется в том, что даже без царя народу временами (а то и постоянно) нужно подобие царя – диктатор, призванный на срок, лишенный права свободно указать преемника, разогнать народное собрание, навсегда уничтожить прежние магистратуры. То, что царь делает в силу своих полномочий, не прибегая к чрезвычайным мерам периодически, а осуществляя их в мягких формах постоянно, диктатор должен совершать в краткий период и с высокой интенсивностью. Именно поэтому диктатура тяжело переносится обществом и наименование «диктатура» становится синонимом беззакония. Напротив, царство (как и Царство Небесное) – торжество справедливости, выраженной в нормах законности.

Шмитт пишет: «... во время гражданской войны даже демократия не обходится без монархических учреждений», «чаще в республиках такой вот неизбежный диктатор или протектор отбирает власть у народного собрания (coetus), нежели в монархиях опекун или регент – у несовершеннолетнего или по каким-то иным причинам неспособного управлять страной государя. Поэтому Гоббс столь же определенно отмечает, что и диктатор является лишь «служителем» (minister) властвующей демократии или аристократии, раз уж он сам не может назначать себе преемника, в каком случае он, конечно же, превращался бы в монарха».

Слуга суверена более жесток, чем сам суверен. Ему поручено быть жестоким, что и он не может отступить от задания, ему по статусу не положено проявлять милосердие. Его уклонение от порученной миссии скорее обусловлено попыткой стать настоящим хозяином положения, и в этом опасность перерастания диктатуры в тиранию. Монархия не знает такой опасности, ее жестокости перемежаются смягчениями – в зависимости от положения дел и личных качеств монархов.

Бездумное определение какого-либо политического режима как «диктатуры» приводит к явной глупости. Либералы всегда назовут диктатурой режим, в котором упразднено разделение властей. И зачастую они будут правы. Но Шмитт предлагает заметить, что разделение властей отсутствует в абсолютистском государстве, и распространение на него понятия диктатуры означало бы, что от всей истории человечества недиктаторскими можно наверняка считать только те режимы, где правят сами либералы или которые они однозначно определяют как демократические. В то же время это будет нелепостью: отождествлением диктатуры с централизмом, а отсутствие диктатуры – с децентрализацией. Получается, что военная организация, заведомо основанная на дисциплине приказа, является опасной для демократии. А отсюда следует, что демократия должна быть полностью беззащитна, и как раз тогда осуществится в полной мере. Это абсурд.

Также неразумно применять термин «диктатура» к полицейскому государству. Шмитт признает определенное сходство, но указывает, что в полицейском государстве нет точного представления о конкретном противнике, которого надо устранить. Полицейское государство – это длительное состояние, диктатура – акция с определенной задачей. Полицейское государство может раздавать акционные поручения, но при этом «оно не ставит свой суверенитет в правовую зависимость от выполнения конкретного намерения и достижения определенной цели». Напротив,

«результат, который должен быть достигнут акцией диктатора, получает ясное содержание благодаря тому, что подлежащий устранению противник дан непосредственно».

Мнимая рациональность политтехнологии

Лишившись правящей династии, нация должна расплачиваться либо периодами легитимной диктатуры, либо тяготами непрерывной тирании бюрократии и олигархии. Республика неизбежно прибегает к диктатуре или скатывается к тирании. Власть большинства (демократия) или власть немногих (аристократия) сталкивается с проблемой разворачивания иерархии управления и властных статусов, выступая от имени разобщенного суверена.

На этот счет Шмитт указывает: «Именно для республики диктатура должна быть вопросом жизненной важности. Ибо диктатор – это не тиран, а диктатура – вовсе не форма абсолютного господства, а присущее только республиканскому уложению средство защитить свободу. Поэтому в Венецианской республике, которую Макиавелли считал наилучшей из всех современных ему, существует подобное установление (гл. 34), и дело заключается лишь в том, чтобы облечь диктатуру конституционными гарантиями. Диктатор здесь определен как человек, который, не будучи связан содействием какой-либо другой инстанции, может отдавать распоряжения и тотчас же, т. е. без возможности обжалования, приводить их в исполнение (гл. 33)».

Диктатура, образуясь как естественный позыв власти сохранить пошатнувшийся порядок, должна быть легитимизирована – облечена в законные формы и ограничена как в полномочиях, так и во времени существования. «Восходящее к Аристотелю противопоставление принятия решений и их исполнения, *deliberatio* и *executio*, Макиавелли использует при дефиниции диктатуры: диктатор может «принимать решения самолично» (*deliberare per se stesso*), назначать меры без совещательного или решающего участия прочих инстанций (*fare ogni cosa senza consulta*) и приговаривать к наказаниям, сразу же получающим правовую силу. Но все эти полномочия следует отличать от законодательной деятельности. Диктатор не может менять существующие законы, не может отменить конституцию или изменить организацию власти, не может он и издавать новые законы (*fare nuove leggi*). Согласно Макиавелли, ординарные органы власти продолжают действовать при диктатуре в качестве своего рода контрольных инстанций (*guardia*). В силу этого диктатура представляет собой конституционное республиканское учреждение, тогда как именно неограниченные законодательные полномочия децемвиров, напротив, навлекали на республику опасность».

Макиавеллизм, который заявлял претензию лишь на разработку технологической основы власти, часто обвиняют в безнравственности, которая навязывается правителю ради сохранения власти. Между тем, эти советы мало чем отличаются от современных советов политтехнологов. Разница – в пользу Макиавелли. Его диктатура опирается на закон и не затрагивает ординарных институтов, а современная политтехнология легко переступает через любые – правовые и моральные – нормы.

Шмитт замечает теоретические противоречия в сочинении Макиавелли «Государь», наблюдая, как в его рекомендациях смешиваются разные типы диктатуры и типы власти: «Макиавелли и его последователи были слишком склонны считать диктатуру институтом, характерным для свободной римской республики, чтобы различать две ее разновидности: комиссарскую и суверенную. Потому абсолютный монарх никогда и не рассматривался ими как диктатор. Более поздние авторы иногда называли государя (*principe*), образ которого создал Макиавелли, диктатором, а описанный в

«Государе» способ правления – диктатурой. Однако это противоречит воззрениям самого Макиавелли. Диктатор – это всегда пусть и экстраординарный, но все же конституционный государственный орган республики, *capitano*, подобный консулу и другим «начальникам» («Рассуждения». II, гл. 33). Государь же, напротив, суверенен, и названное так сочинение Макиавелли содержит, главным образом, обрамленные примерами из исторических трудов политические рецепты относительно того, как *principes* мог бы удержать в своих руках политическую власть».

Проблема «технического» отношения к политике, столь характерная для современной РФ, состоит в том, что в ней утрачивается понимание права. Подчинение технической задаче удержания власти (над чем работает целый неконституционный институт Администрации Президента), отражает лишь интерес менеджеров-исполнителей, которые получают вознаграждение не за воспроизведение правового порядка, а за успешно проведенные операции против политических оппонентов. Фактически это означает продолжение гражданской войны иными средствами. А в гражданской войне, с точки зрения политтехнолога, все средства хороши. Одно дело, когда меж собой воюют партии, другое – когда власть воюет со своим народом. В такой войне вызревает олигархия, а правитель, втянутый в организацию тиранического режима, может даже не подозревать, что при его власти от права осталась только риторика публичных выступлений. Прочувствовавший это народ начинает потешаться над теми словами, которые кажутся спикерам властной группировки священными и серьезными.

Вопросы технологии в эпоху Возрождения, как замечает Шмитт, оказались в центре внимания не только политиков. Поэтому Макиавелли выражал общую тенденцию: во главе угла оказывался «интерес, следуя которому даже великие художники этой эпохи больше занимались техническими, а не эстетическими проблемами своего искусства. Сам Макиавелли тоже больше внимания уделял чисто техническим проблемам, например, проблемам военной науки. В делах дипломатии и политики его преимущественно занимает вопрос о том, как достичь того или иного результата, как «сделать» то или иное дело; если в «Государе» и прорываются подлинные эмоции, так это ненависть и презрение к дилетанту в сфере политической жизни, к халтурщику, который не доводит дело до конца, проявляет половинчатую жестокость и половинчатую добродетель (гл. VIII)».

Политтехнолог знает, как удержать власть сегодня, политический философ – как воспроизвести государство и нацию, обеспечить их существование неограниченное время. Поэтому между ними непримиримое противоречие: одни отбивают хлеб у других. Кроме того, успех одних оборачивается неизбежным (со временем) поражением других. Если доминируют политтехнологи, то концепция государственности остается в небрежении. Кризис государства при этом неизбежен и непреодолим. Зато политтехнологи всегда обеспечены выгодными заказами. Победа политической философии обратила бы их в обслуживающий персонал, привлекаемый периодически. В идеале – настолько редко, что профессия политтехнолога была бы невозможна, и специалисты необходимого профиля привлекались бы из смежных специальностей. Собственно, все политтехнологии исчерпываются развитым чрезвычайным законодательством. Его отсутствие в современной России – прямой показатель глубокого кризиса государственности, в котором власть не способна рационализировать понимание экстраординарных состояний и разрешать их. При последовательной рационализации политтехнологии оказывается, что власть концептуально иррациональна. Она рационализирует бессмыслицу!

Макиавеллизм рассматривает толпу как материал, из которого надлежит сконструировать государство. Если народ есть «нечто иррациональное, чем нужно овладеть и руководить посредством *ratio*», то «с ним нельзя вести переговоры и

заключать договоры, им нужно овладевать хитростью или силой. Рассудок здесь не может рассуждать, он не приводит резоны, он диктует. Иррациональное есть лишь инструмент рационального, поскольку только рациональное может по-настоящему действовать и куда-то вести». В республиканском государстве такая рационализация прямо направлена против народа и его суверенных прав. Иными словами, либо республиканское правление только имитируется и является обманом, а политтехнология лишь дополняет этот обман тайными инструментами достижения цели – удержания власти негласной олигархии. Либо республика и политтехнологи находятся в прямом столкновении: суверен добивается своих прав, не поддаваясь на «обработку» политтехнологиями, а явная олигархия приобретает тираническую форму.

Технологический подход к государственной власти отделяет ее от народа мифом собственной рациональности. «Разум диктует. Оборот *dictamen rationis* перешел из схоластики в естественное право: так говорится и о законе, предписывающем наказания или какие-либо иные правовые последствия. Если представление о диктате в первую очередь вытекало из превосходства разума, то независимо от этого, оно было также и следствием чисто технического интереса».

Диктатура имеет смысл как рационализация политики только в узком секторе задач и узком временном промежутке: «содержание деятельности диктатора состоит в том, чтобы достичь того или иного результата, что-то «исполнить», например, победить врага, умиротворить или низвергнуть политического противника. Речь всегда идет о каком-то «положении дел». Поскольку нужно достичь конкретного успеха, диктатору приходится, применяя конкретные средства, напрямую вмешиваться в причинно-следственный ход событий». «Поэтому, когда речь действительно идет о каком-либо крайнем случае, он может и не соблюдать общепринятых норм. Ведь если в обычные времена применение конкретных средств для достижения конкретного успеха (например, то, что допускается делать полиции для обеспечения общественной безопасности) отличается известной регулярностью и поддается расчету, то в отношении крайнего случая можно только сказать, что диктатор вправе предпринимать именно все те действия, которых потребует положение дел. Таким образом, вопрос здесь ставится уже не о правовых соображениях, а о том средстве, которое в данном конкретном случае годится для достижения конкретного результата. Ход действий здесь тоже может быть правильным или неправильным, но эта оценка относится только к тому, правильны ли принятые меры в ситуативно-техническом смысле, целесообразны ли они. Оглядка на препятствующие права, на согласие третьих лиц, чьи интересы ущемляются, учет благоприобретенных прав, следования по инстанциям или возможности обжалования могут быть «противны сути дела», т. е. стать вредными и неправильными в ситуативно-техническом смысле».

Стратегия и тактика власти могут входить в противоречие. Тотальная рационализация представлений о власти в современную эпоху делает совершенно непонятными поступки правителей прежних эпох (вплоть до непротравления Николая II путчу «февралистов» и добровольного схождения с трона) и даже саму суть государственности. Тактические шаги, позволяющие сохранить власть, могут войти в противоречие с сущностью этой власти.

«Чисто технической концепции государства остается недоступна безусловная, не зависящая от целесообразности собственная ценность права. Такая концепция интересуется не правом, а лишь тем, насколько целесообразно функционирует государство, т. е. только исполнительной властью, которой в правовом смысле может и не предшествовать никакая норма. Помимо рационализма и чистого техницизма здесь заключено третье отношение к диктатуре: в рамках исполнительной власти все исполнительные органы должны быть безусловно подчинены интересу технически выверенного хода событий. Если не слепого, то все же скорого и точного

повиновения требует исполнительная власть не только в особом смысле слова, например, военная власть, но и применительно к судебному приговору – само его исполнение не должно становиться зависимым от согласия чиновника-исполнителя в том смысле, что он мог бы перепроверять объективность приговора, имеющего законную силу. Вне сферы деятельности верховной власти никакая организация тоже не сможет хорошо функционировать, если исполнители, руководствуясь какими-либо интересами, станут претендовать на самостоятельное действие или контроль, исходя из других точек зрения, нежели точка зрения технической функции. (...) Другими словами, в рамках слаженно функционирующей исполнительной власти, когда условия ее деятельности уже оговорены, никаких разъяснений, согласований, совещаний с исполнительным органом больше не проводится».

Такой подход (рационализм, техницизм и приоритет исполнительной власти) вполне описывает современную российскую ситуацию – бесцельную власть, озабоченную лишь самосохранением. Законодательная власть, где рациональность может быть распространена на представления о судьбе государства, подавлена тиранией олигархии, прикинувшейся исполнительной властью. Эта власть исполняет отнюдь не законы, а задания и даже прямые приказы властной группировки. Законодателя просто не существует. Не говоря уже о суверене.

«Исполнительная власть» – армия и натеревшее в бюрократии чиновничество – составляет ядро этого государства, которое по сути своей является исполнительной властью, и с технической точки зрения исполнителям может быть все равно, кому они служат (опытные функционеры с легкостью переходили со службы одному государству на службу другому, и наиболее дельные комиссары немецких князей были как раз из чужаков), потому что исправное отправление функций не зависит от особенностей правового устройства государства-заказчика и опирается на конкретно-практическую социологическую технику».

Тем самым современная государственность неотличима от измены – с переходом бюрократии на службу иным государствам или внесударственным силам (сегодня – мировой олигархии). Измена российских властей своему народу, который формально (по Конституции) признается сувереном, очевидна: систематический разгром всей социальной инфраструктуры, расхищение национального достояния, разгром общественных объединений русских, политические преследования русских активистов, зверства полицейских сил, развал армии, непрерывный обман граждан высшими должностными лицами и т.д. Никаких признаков правильной формы государственности в современной России не прослеживается, зато сочетаются все неправильные, консолидируясь в тиранический режим.

Политический миф диктатуры

Для республиканского порядка диктатура выступает как чудо, которое разрешает те проблемы, которые сугубым рационализмом ординарных институтов не разрешаются. Именно поэтому кризис республиканских институтов неизменно порождает устремление к империи, где чудо обмирщается, становится привычным и повседневным, олицетворяясь в фигуре императора.

Шмитт пишет: «О диктатуре говорили как о чуде, обосновывая это тем, что она приостанавливает действие законов государства, как чудо приостанавливает действие природных законов. На самом деле чудом является не диктатура, а разрыв правовой взаимосвязи, который происходит при установлении этого нового господства. Напротив, и комиссарской, и суверенной диктатуре свойственна правовая взаимосвязь. Суверенная диктатура ссылается на учредительную власть, которая не может быть устранена никакой противостоящей ей конституцией. Бог как

отдающая поручение инстанция отличен от такого обладателя учредительной власти...»

Правовую взаимосвязь мы получаем в результате рационализации представлений о власти вообще. Власть, так или иначе, должна быть основана на правовом принципе, и этот принцип спешно подыскивается. Чудо изгоняется, зато возникает сумма доводов в пользу обусловленной правом власти. Одновременно мораль вытесняется как недостижимый образ, не имеющий ничего общего с практикой. Мораль вырождается в риторику и отделяется от деятельности. Бюрократия становится главным моралистом при отсутствии в ней каких-либо признаков морали. Политические речи о национальных (государственных) интересах или общественном благе не имеют к тому и другому никакого отношения. А политика присваивается высшим чиновничеством как профессиональная тайна. В этой роли она навязывается народу как то, что он обязан воспринимать как чудо («аркан», *arcana* – секреты политических интриг).

Изгнание чуда из политики оборачивается «железным законом олигархии» – властный слой постоянно сжимается, пока не становится олигархией – компактной группировкой, в которой замыкается вся политика и распределение всех благ от властной диспозиции. Этот закон – правило не только современных обществ: «В качестве специфического аркана господства, применяемого аристократией, описывается, в частности, диктатура; ее цель – устрашение народа путем учреждения такой властной инстанции, решения которой нельзя обжаловать. При этом в интересах аристократии рекомендовано следить за тем, чтобы диктатура не превратилась в принципат».

Изначально чудесам политики было отведено свое место. В основном войны и подавление мятежей возлагались на царскую власть и (или) на диктатуру. Чудо исходило из божественного права – основы всего правопорядка. По мере возвышения аристократии, за царской властью закрепляется сумма подобающих царю прав, не позволяя монархическим элементам властной системы творить правовое чудо по своему усмотрению. В аномальном случае монарх оказывался хозяином и полновластным правителем только своего дворца или даже только символом власти. Тем самым реальные чудеса заменяются фиктивными, а в случае разоблачения монарх и его приближенные оказываются козлами отпущения. Тайная олигархия в результате переворота в республиканской форме правления становится явной, приукрашенной новой «народнической» риторикой и уверениями в устремлении к благу народа, который становится ответственным за все «чудеса» как формально обозначенный суверен.

В условиях разумного самоограничения царской власти аристократия не превращается в свиту и имеет свое собственное достоинство по рождению, а значит, независимое от воли монарха (при сохранении лояльности) и государственных чиновников. В этом случае царская власть представляет собой учредительную инстанцию, отвечающую за сохранение суверенитета и основ права, разумно пренебрегающую вмешательством в деятельность ординарных учреждений аристократии и обязанного законом чиновничества.

Угасание или гибель традиционного общества сопряжено с изменением функции права: теперь оно выступает как определенная замена истрепавшемуся представлению о божественном происхождении абсолютизма. Тогда политика складывается как наука, а ее понятия сгущаются в формальном праве. «Чудесная» составляющая государственной политики остается в волевом акте правителя, который ограничен только собственной способностью верно оценивать ситуацию и вовремя применить свой талант. «В юридическом же отношении учитывается лишь то, что решение, имеет или не имеет место исключительный случай, всегда принимает сам обладатель полноты власти». «Казалось бы, исключительное право

еще остается правом, поскольку оно, по-видимому, бывает ограничено исключительным случаем. В действительности же вопрос о суверенитете совпадает с вопросом о чрезвычайных правах»; «тот, кто главенствует в исключительном положении, главенствует и в государстве, поскольку именно он решает, когда должно наступить такое состояние и что тогда потребуются предпринять сообразно положению дел».

Если же божественное право отброшено, и чрезвычайные решения принимает олигархия, то и само право исчезает, а на его месте остаются формальные имитации законодательства, применяемого по воле и в интересах бюрократии. «В делах публичных, в вопросах военного, посольского, муниципального и государственного права все решает не равенство (*aequitas*), а могущество тех, кто господствует (*vis dominationis*), т. е. альянсы, войска и деньги». Это уже «право бесов», в нем миф обращается в антимиф – антигосударственную игру беспочвенных сил. Они лишь имитируют суверенитет, сохраняя площадку для своей алчности и клинических наклонностей.

Олигархия заведомо непостоянна, и даже не рассчитывает на постоянство. Как непостоянен узурпатор, понимающий, что рано или поздно придется отвечать за свои преступления. «Даже когда в том или ином государстве отдельный человек или отдельный властный орган получает неограниченные полномочия и нет никаких правовых средств противодействовать принимаемым ими мерам, все же такая власть еще не суверенна, если она не постоянна, ведь это означает, что она дана кем-то другим, а подлинный суверен не знает над собой никого кроме Бога».

Многие узурпаторы верят в магизм собственной личности, не понимая, что он принципиально ограничен во времени и исчезает почти сразу, как только удача отворачивается от повелителя толпы. Редкий узурпатор кончает жизнь по естественным причинам. Наследники узурпаторов тоже долго не живут. Магизм самозванца, даже если он был, по наследству не передается. Божественной санкцией властитель обладает в силу обычая, признающего священный долг народа перед династией. Только в этом случае государства живут веками.

Без монарха аристократия неизбежно тяготеет к олигархии. Сословные статусы оказываются не заданием на служение, а возможностью для обогащения. «Монархомахи» – такой термин использует Шмит для описания позиций защитников сословных привилегий. Для изгнания чудес из политики монархомахи требуют правового государства, то есть, исключения экстраординарного случая. Монархию атакуют как тиранию – экстраординарную власть в обычных условиях. «У Юния Брута, прочнее всех укорененного в классической традиции, абсолютный государь назван тираном, но, несмотря на то, что это обозначение часто применялось к Цезарю, а его тирания по форме своей была все же длительной диктатурой, в «Обвинениях» о диктатуре не говорится. В Цезаре они хвалят только то, что он хотя бы спрашивал народ и сохранял видимость, «внешний блеск» права (*juris praetextum*). Определение тирану дается с позиций справедливости: тиран – это тот, кто-либо завладевает властью силой и коварными манипуляциями («тиран без титула», *tyrannus absque titulo*), либо злоупотребляет властью, возложенной на него по праву, нарушая законы и договоры, которым он присягнул («тиран по отправлению власти»).

Брут заимствует понимание закона у Аристотеля: «лучше слушаться закона, чем любого сколь угодно умного человека, ибо в законе главенствует разум (*ratio*), а не пристрастия (*cupiditas*), человек же «подвержен разнообразным аффектам» (*variis affectibus perturbatur*)». Кажется, что пристрастия и аффекты для коллегии законодателей исключены. Отсюда вытекает мысль о разделении властей, а мудрость законодателей определяется как воля народа. Монарху остается роль «первого слуги государства» (*supremus Regni officarius*), «тела», а не «души»

закона. В современности это означает, что глава государства может быть разве что главой исполнительной власти. Роль верховного арбитра из публичной сферы исчезает и передается неизвестным лицам.

Поскольку экстраординарный случай изгнан из права, то из права уходит его глубинный смысл, «душа закона» мельчает, заменяясь рационализмом юридической технологии. «Учение о государстве, развиваемое сословной оппозицией, не интересовалось решением как таковым и видело в «народе» ту инстанцию, у которой якобы не могло возникнуть сомнений относительно того, что есть право и общественный интерес. Оно верит во всеобщую, одинаковую и непосредственную убежденность всех граждан государства».

Устранение Государя оправдывается рациональным выбором (многие умнее одного), обвинением в тирании (произвол «чуда»), волей народа (выраженной в сословных организациях, а позднее – в настроении толпы), представлением о справедливой власти как исходящей от народа, а не от Бога (исключение божественного права – древнейшей традиции, которая оценивается как ужасный анахронизм). Если у Локка Государю противостоит интерес сословий, то у Руссо правительство становится комиссаром народа – фактически проводником тирании, установленной от имени народа, но руководимой закулисными кланами. При этом проще сослаться на волю толпы, которой легко манипулировать, чем на волю сословных представительств, которые без Государя лишаются покровителя и могут быть уничтожены олигархией.

Так либеральная мысль под видом рационализации объясняет и утверждает необходимость отказа от монархии, затем от сословного представительства, а в итоге приходит к обращению народа в толпу, от имени которой олигархия создает политические мифы, покрывающие ее преступления. На время – пока государственность еще может переносить аппетиты паразитических группировок. А потом государство либо гибнет, либо сметает паразитов и устанавливает подобие национальной власти. На следующей судьбоносной развилке власть либо по сути становится национальной, либо вновь вырождается в олигархию.

Либеральный прагматизм Локка и Монтескье

Как вообще возможно образование государства, если изначально у него нет закона? История говорит о том, что власть создает государство и формирует закон в нем. Обычно это власть монарха, который не в состоянии до мелочей регулировать жизнь подданных, вникая в каждое спорное дело. Отсюда возникают общие правила, а с ними – законодательство.

Именно в таком направлении двигалась мысль Локка, который ввел в свою теорию фигуру Законодателя, понимающего, что не может предусмотреть всего. Собственно, это очевидная мысль, известная и древним мыслителям. Но у Локка появилась новация: он соотнес деятельность Законодателя с учением о естественном праве – некоем врожденном понятии о справедливости, которое Законодатель должен использовать, чтобы быть успешным. В этом естественном праве, по мысли Локка, имеется также право в непредусмотренных уже установленными правилами жизни случаях применять свою власть подобно тому, как это происходит в момент образования государства и самого права. Иначе говоря, продиктовать свою волю под видом реализации ничем еще не сформулированных принципов справедливости.

Только когда-нибудь потом, когда ситуация утрясется, законодательное собрание утвердит или отменит акты Законодателя. Тем самым он действует из принципа, согласно которому невозможно знать все конкретные ситуации и предпринимать меры применительно к случаю. Он должен быть к этому готов, а вовсе не следовать

исключительно установлению общих норм, которые не могут учесть непредусмотренное.

Либеральная мысль истолковала невозможность исполнения полномочий одним государственным органом и объединения функций законодателя и исполнителя (фактически – властителя и подчиненного) в принципе разделения властей. Этот принцип сталкивал сословное представительство и королевскую власть. Последняя должна как бы ставилась под контроль коллективного разума. Уже не монарх выступал законодателем, а сословное собрание, у которого монарх должен быть «первым слугой». Непредусмотренное передается с рук на руки коллективному диктатору.

Для уравнивания неизбежного противостояния в борьбе за статус верховной власти (функции Законодателя), Локк ввел еще одну «ветвь» власти – федеративную. Вслед за ним Монтескье пришел к необходимости «промежуточных инстанций». Тем самым родилось теоретическое оправдание бюрократии. Шмитт пишет: «...подобно тому как сословия Германской империи (пусть и с иным успехом) считали, что majestas обладает не император, а сама империя, imperium, и император является только ее частью, – так и во французских парламентах говорилось о том, что король не стоит вне государства, а сам является частью королевства. «Иерархию промежуточных властей» (gradation des pouvoirs intermediaires) они считали «священным залогом» (depot sacre), связующим авторитет короля с доверием народа».

Имперские должности, которые формально находились в ведении монарха, оставались наследственными, что создавало двойную подчиненность: с одной стороны – императору, с другой – сословию. В этом случае прямые назначенцы императора, комиссары-интенденты воспринимались образовавшейся сословной бюрократией как посягательство на принцип правления, который исходил от самого монарха. Сословная бюрократия оказывалась перед фактом разрастания сферы «непредусмотренных случаев», в рамках которой позволялось устанавливать диктаторские полномочия императорских комиссаров. Суверен заявлял себя через диктатуру комиссаров, которые постепенно складывались в новую бюрократию, оттеснившую сословные корпорации.

В данном случае Монтескье выступал на стороне сословий. В то время как Просветители видели бессословное общество, основанное на каком-то естественном законе, который выстраивает власть, следуя ему чисто механически – то есть, фактически по рекомендациям тех же Просветителей. Монтескье полагал (по утверждению Шмитта), что ««промежуточные власти» составляют существенный признак монархического правления, соблюдающего фундаментальные законы. Законам нужна опосредующая инстанция, которая пропускает сквозь себя течение государственной власти, препятствуя произвольным и внезапным проявлениям государственной воли. Именно аристократия, сеньориальное и патримониальное правосудие, духовенство и служащие «залогом закона» (depot de lois) независимые суды, т. е. французские парламенты, являются такими промежуточными преградами всевластию государства». «Просветители видели государство таким же, каким деистическая метафизика видела мироздание: Бог, находящийся за пределами этого мира, устроил его подобно некоей совершенной машине, действующей по однажды установленным законам; точно так же законодатель собирает машину государства».

Шмитт видел в теории Монтескье не разделение и разграничение властей, а образ весов – сдержки и противовесы. «Образ этот выражает прежде всего согласие между королем и парламентом. Когда та или иная корпорация идет против короля, т. е. против того, кто обладает наиболее весомыми средствами государственной власти, она может это делать только отождествляя себя с народом, представительницей которого она себя считает, и требуя для себя контроля над применением этих

средств государственной власти, а также права устанавливать нормы такого применения, т. е. издавать законы. Единство в этой борьбе может быть достигнуто в результате того, что одна власть уничтожит другую; и это, согласно словоупотреблению XVIII в., был бы «деспотизм»; в наши дни говорили бы о «диктатуре»».

Монтескье считал, что равновесие, достигнутое в результате баланса властей, представляет собой самое разумное состояние. Нарушение баланса приводит к «деспотизму». Либо со стороны короля, либо со стороны народа. И то, другое для Монтескье неприемлемо. Поэтому Шмитт указывал, что его учение не является ни республиканским, ни демократическим. Также Шмитт считал, что оно лишено и централизационных тенденций. Вместе с тем, если учесть, что власть короля может быть низвергнута, то баланс автоматически смещался именно в сторону централизованной бюрократии. Требуя баланса и его обеспечения «промежуточными властями», Монтескье фактически создал базис для республиканского переворота и бюрократизации. Его учение было направлено в большей мере против «чрезмерной власти королевского абсолютизма и его орудий, министров и интендантов». «Но непосредственная демократия сталкивается с тем же возражением, что и абсолютная монархия: народу тоже не должно принадлежать «непосредственное господство»; демократия античных республик тоже была лишена опосредующих, промежуточных инстанций».

Понятно, что «господство» у Монтескье должно распределяться по различным инстанциям и должностным лицам, каждое из которых не могло решать какой-либо вопрос окончательно и единолично, наращивая собственный потенциал «господства». При этом остается вопрос: каким же образом возможно принятие решения? Ведь распределенные полномочия «промежуточных инстанций» в состоянии если не принимать решения, то их тормозить или блокировать. То есть, Монтескье рассматривал лишь одну форму деспотизма: деспотизм дисбаланса в пользу индивидуальной воли лица или какого-либо института. Им не рассматривалась возможность бюрократического деспотизма (или, точнее, тирании) и имитационных статусов для народного представительства, что актуально для сегодняшнего дня.

Согласно Шмитту, у Монтескье «вмешательство государства никогда не должно осуществляться со всей действительной полнотой власти, но всегда лишь опосредованно, с использованием промежуточной инстанции, органа с четко определенными компетенциями, с «ограниченной властью» (*pouvoir borné*), наряду с другими опосредующими инстанциями обладающего компетенцией, которую нельзя отменить по чьей-либо воле. Наивысшие инстанции, законодательная и исполнительная, тоже должны взаимно ограничивать друг друга в своей власти. (...) Самоограничение государства, которое должно вытекать из законодательства, «нерушимость» закона гарантированы только тогда, когда издание и исполнение закона взаимно контролируют друг друга, и прежде всего (отсюда требование королевского вето) когда однажды изданный закон не может быть изменен по чьему-либо произволу».

Слово «диктатура» у Монтескье используется в духе его времени и в основном по отношению к римской республике – как исключительное состояние, характерное для аристократической формы государства: «меньшинство, господство которого подвергается угрозе, передает одному из сограждан безграничные полномочия, *une autorité exorbitante*. Напротив, в монархии, сущность которой состоит в том, что неограниченная власть принадлежит одному человеку, существует препятствие, образуемое монархическим принципом, заставляющим считаться с «промежуточными» инстанциями, в особенности с дворянством».

Таим образом, в идеальном состоянии диктатура исключена (помимо неясной оговорки о том, что в определенных условиях законодательная власть может поручить исполнительной «арестовывать подозрительных лиц»). Монархический принцип поглощает функции, необходимые для исключительного положения. В случае же аристократического государства Монтескье рекомендует предусмотреть диктатуру в своей конституции. И это важно в свете трансформаций совершенного либерализма, который готов погубить государство, лишь бы не допустить диктатуры. В этой рекомендации прагматизм преодолевает подобную идеологическую ограниченность.

Монтескье не усматривает ничего монархического в цезаризме. Ему представляется близким к идеалу порядок, при котором в Риме множество магистратур взаимно ограничивали и контролировали друг друга. Экстраординарные поручения, которые начали раздаваться Суллой и Помпеем, разрушили разделение властей и власть магистратов. Суверенитет перешел к «отдельным влиятельным мужам», «под предлогом восстановления порядка осуществляется ничем не ограниченная власть, и то, что прежде называли свободой, теперь зовется мятежом и беспорядком». Монтескье связывает диктатуру с устремлениями отдельных властолюбцев, пользующихся условиями гражданской войны. Ему представляется, что в отступлении от идеального положения повинны скорее люди, а не обстоятельства. Никчемность бюрократических институтов в экстраординарных обстоятельствах им не замечена. Как и реализация в цезаризме фундаментального для понятия государства вообще монархического принципа.

«Левый» романтизм: от разделения властей к диктатуре

Шмитт последовательно проводит мысль о том, что право соотносится с религиозными представлениями. Так, у истоков либеральной мысли заложено картезианское учение о том, что Бог обладает только «всеобщей волей», а все партикулярное чуждо его сущности. Следовательно, и государство обязано устанавливать только всеобщие и абстрактные правила. При этом полное абстрагирование от конкретных событий происходит только у Руссо. Декарт и Локк исходили из требования стабильности однажды открытой просвещенному разуму универсальности: «неизменный (immutable), константный закон должен сделать правовую жизнь равномерной и поддающейся расчету и благодаря этом одновременно с обеспечением правопорядка заложить основу независимости судей и гражданской свободы, он препятствует тому, чтобы законодательство и юриспруденция преследовали некие цели и принимали решения сообразно положению дел в том или ином случае, и обеспечивает то, что правоведы Нового времени называли «нерушимым характером закона», свойственным всякому правовому (а не полицейскому) государственному порядку».

Злой ум Вольтер не мог не обличать бюрократии и числить за «промежуточными инстанциями» гений просвещенного разума. Продажу и наследование должностей Вольтер считал гнусностью, и с этих позиций оказывался сторонником просвещенного абсолютизма. Сопrotивление парламентариев центральной власти он считал «вопиющей анархией». Как и любое проявление сословной автономии. Просвещенный разум должен был командовать нажатием кнопки на центральном пульте. В то же время Вольтеру милы демократические институты, и он не мог быть последовательным сторонником абсолютизма. Подобная раздвоенность унаследована и современными либералами, которые свою собственную власть считают настолько замечательной, что не видят для нее необходимости в демократических институтах, а власть иных политических сил настолько нелепой, что для них эти институты должны быть единственным лекарством от безумия.

Начиная с физиократов можно видеть стремление заменить одну бюрократию другой. Действующая бюрократия «промежуточных инстанций» должна быть заменена «просвещенной бюрократией», в которой, по мысли либералов, только и может устанавливаться справедливый государственный порядок. «Хотя физиократы считали вредным государственное вмешательство в торговлю и промышленность, сильная монархия и «истинный», т. е. оправданный и разумный, деспотизм казались им необходимыми для того, чтобы осуществить их идеалы свободы и уничтожить стоящие у них на пути промежуточные власти. Государство должно подчиняться законам экономического развития, в остальном же ему дозволено все». То есть, властвующий либерализм не отказывал себе в произволе, который для него ограничивается некими раз и навсегда открытыми правилами экономической жизни.

Если такой порядок установлен, то задачей либеральной власти становится просвещение и воспитание подданных. «Естественный порядок» (*ordre naturel*) должен стать для каждого основополагающим принципом, заменяющим религию. Достаточно знания этого принципа, чтобы из него вывести все остальное. Но пока масса остается недостаточно воспитанной (не обработанной идеологическим насилием), необходимо господство просвещенного авторитета. Фактически, речь идет о перманентной диктатуре, перерабатывающей человеческое сознание согласно представлениям либералов.

Среди мыслителей этого направления Шмитт выделяет Мерсье де ла Ривьеру и его книгу «Естественный и необходимый порядок политических обществ», где развивается идея легального деспотизма, исходящего из всеобщих принципов разума. В данном случае деспотизм (тирания) имеет благую цель: принести людям подлинную свободу и «культуру». И такой деспотизм законен. Кроме того, «тому, кто обладает адекватным и естественным пониманием сути дела, позволительно быть деспотом в отношении каждого, кто им не обладает или остается к нему глух». Если без насилия законы – ничто, то «господство разума» никак не обойдется без него. И здесь уже нет необходимости в разделении властей. Ибо «диктовать позитивные законы – значит командовать (*Dieter les lois positives, e'est commander*), а для этого – и потребно «публичное насилие» (*force publique*), без которого бессильно любое законодательство». «В интересах энергичного действия устраняются все стоящие на пути препятствия и формируется «необоримая власть» (*autorite irresistible*). Главное слово в этом мире идей – «единство»: единая сила, единая воля, единство очевидной истины, власти и авторитета, чей деспотизм основывается на познании истинных законов социального порядка, при котором, следовательно, истинные интересы суверена совпадают с истинными интересами подвластных ему людей; и власть деспота может становиться тем значительнее, чем шире распространяется просвещение, потому что тогда общественное мнение само вносит требуемые исправления. Легальный деспотизм – это, стало быть, отнюдь не деспотизм, связанный позитивными законами, а до предела централизованная политическая власть, осуществляющая переход к такому состоянию, когда естественные законы господствуют сами собой и их оправданность очевидна для разумного человека».

Коммунистический фланг левых идей Шмитт анализирует на примере Морелли и Мабли. Морелли, мечтая о равенстве, уповает на деспотизм как средство его обретения. При этом некритично используется платоновский идеал государства, где правят философы. Мабли надеется на сильную власть монарха, которую мысленно направляет против любого «класса» или партии, а также против частной собственности. Сила централизованной власти планируется как инструмент возвращения государства к «естественному» состоянию. Философы правят только в идеальном государстве. В реальном государстве власть философов с их знанием истины невозможна в силу несовершенства человека. Но как только мысль поворачивает к представлению о природной злонаправленности человека, возникает подозрение в неведении правителей или покорении их дурными страстями. Чтобы с этим справиться, приходится возвращаться к идее конкурирующих магистратур, а

также к тому, что государство – лишь необходимое зло, влияние которого надо всячески минимизировать.

Все сползает к обычной либеральной идее: общество – продукт разума, государство – продукт пороков. Средство против порока – постоянные разделения административных ветвей, которое гарантирует от образования «универсального магистрата», деспота. Для этого надо все контролировать и непрерывно реформировать. «Того обстоятельства, что в тот самый момент, когда обычный контроль начинает активно преследовать определенную цель, контролирующая инстанция превращается в исполнительную и вновь происходит накопление деспотической власти (его как раз и нужно было остановить), Мабли, по всей видимости, не заметил».

Диктатура для Мабли – это полное прекращение деятельности магистратов, а не работа в чрезвычайных обстоятельствах (которые гарантируют от злоупотреблений диктатора); «...речь уже больше не идет, как при обычной комиссарской диктатуре, о верховном командовании во время войны или о подавлении восстаний. Обосновывая необходимость диктатуры, Мабли говорит, что ее нужно вводить, поскольку законы понемногу ветшают и коррупция принимает слишком большие размеры»; «...во время революции представители народа должны взять в свои руки и саму исполнительную власть, то это будет уже новая, осуществляемая от имени народа, диктатура Конвента, т. е. уже не комиссарская реформационная, а суверенная революционная диктатура».

«Левые» идеи, как мы видим начинают свою идейную трансформацию с приверженности «власти одного» и заканчивают ее подменой властью революционной чрезвычайщины. Монархией надеются нанести удар по сословиям, затем конкурирующими инстанциями – по монархии, наконец, революционной тиранией по всем возможным инстанциям государства. Общее направление мысли либералов и коммунистов вполне совпадает: интересы народа лишь повод к тому, чтобы разрушить традиционную государственность и измучить этот народ бесцельной чрезвычайщиной, которая все равно возвращается к традиционным государственным институтам. Или добивает государство, превращая его в объект завоевания.

Абсурд руссоизма и его воплощение

Абсурд руссоизма до сих пор живет в политических доктринах современности. Основателю самого индивидуалистического учения прощают все, практически позабыв даже самое основное. Прощают (или забывают) даже отрицание парламента. Ведь все и так знают, что парламент, как и любое представительство, в принципе не способен выразить совокупную волю индивидуумов. Руссо не приемлет парламент, а современный либерализм приемлет только картонную подделку под народное представительство.

Последователи Руссо теперь должны требовать учреждения виртуального парламента, где каждый гражданин сам себе депутат и голосует по любому вопросу, который сам же и вставит в повестку дня. Теперь интернет-технологии теоретически позволят реализовать абсурд, который в эпоху Руссо почему-то был воспринят как интеллектуальная новация с ценными свойствами. Почему? Потому что крайний индивидуализм требовал уничтожения всех социальных уз, всех сословий, всех корпораций. Якобы, это и есть путь к истинной свободе. Когда все разрушено до основания, якобы, только и возможно единение – общественный «договор», в котором нет никакого изначального подчинения. И только так рождается либеральное правовое государство – из состояния хаоса.

Собственно, руссоизм отражает не только либеральное понимание государства, но и коммунистическое. В ранних формах эти учения совпадали, и разумно их в равной мере считать «левыми» – растущими от одного корня, враждебными традиции и антигосударственными. Разница лишь в том, что коммунизму удалось прибрать к рукам государство в России после 1917 года и перевернуть формулу: абсолютизировать антигосударственное государство как высшую ценность, подавляющую индивидуальность. Затем тот же переворот (с 1991 года) в России осуществили либералы. Тем не менее, ядро их мировоззрения, как и у коммунистов, осталось прежним. Их государство осталось только же антигосударственным, что и у коммунистов – тиранической олигархией.

Шмитт замечает по этому поводу: «Есть одно естественное право, в котором отдельный человек представляет собой конкретно существующую реальность, независимую от каких бы то ни было социальных организаций и форм, и потому предстает чем-то принципиально неограниченным, противостоящим государству как чему-то принципиально ограниченному; и есть другое естественное право, в котором эти отношения перевернуты».

Шмитт показывает, каким образом этот переворот осуществляется у Руссо. Исходный индивидуализм его учения не значит ничего. Вопрос в том, что происходит с составленным из индивидуумов целым: «поглощает ли оно всякую социальную содержательность, становясь принципиально неограниченным, или же отдельный человек сохраняет свою конкретную субстанциальность». У Руссо появляется некое общее «Я», которое поглощает всю индивидуальность без остатка. Право возникает между «Я» и выхолощенным индивидуумом, которому естественные права возвращаются от имени этой абсолютной власти: «каждая социальная группировка внутри государства, каждая партия и каждое сословие как таковые неправомерны», «у человека нужно отнять все его существование, всю его жизнь и все его силы, чтобы возратить их ему от имени государства», «всякая другая зависимость, помимо зависимости от государства, есть что-то, что было отнято у государства». Переворот завершился: предельный индивидуализм уничтожил самостоятельную индивидуальность и разрешил ее только посредством некоей «общей воли».

Всеобщая воля (*volonte generale*) у Руссо заменяет Бога. Она становится всеобщим и неоспоримым благом. Из искусственно введенного постулата всеобщности «суверена» вытекает, что его воля всегда совпадает с тем, что должно быть. Всеобщая воля всегда права, не может ошибаться, она есть сам разум. А воля отдельного человека перед всеобщей оказывается ничтожной. ««Всеобщая воля» возводится до божественного достоинства и уничтожает всякую особенную волю и все особенные интересы, которые в отношении ее выглядят просто воровством. Поэтому вопрос о неотчуждаемых правах индивидуума и о сфере свободы, не допускающей вмешательства суверенной всеобщей воли, можно больше не поднимать. Он устраняется простой альтернативой, в которой индивидуальное либо согласуется с всеобщим и тогда в силу такой согласованности имеет некую ценность, либо не согласуется, и тогда как раз оказывается ничтожным, злым, испорченным и вообще не является волей, достойной внимания в моральном или правовом смысле».

Разумеется, всеобщей воле нет нужды ни в каком разделении властей. Для Руссо это всего лишь фокус, подобный сценической иллюзии, в которой человека разрезают на куски, а потом он оказывается невредимым. Не важна для нее и форма правления, ибо она в любом случае исходит от всех, но при этом не является суммой частных волей, будучи противоположной всему частному и присутствующей в каждом гражданине (собственно и гражданин есть сам по себе выражение этой воли, а не частное лицо). Общая воля безразлична ко всему частному, к индивидуальным различиям, конкретным решениям. Из этого принципа можно вывести все, что угодно – любую политическую доктрину.

Чтобы теория Руссо не превратилась в совершенно оторванное от жизни учение, ее автору пришлось ввести в свое построение конфликт между государством и испорченным человеком, из которого должна быть изгнана «природная сила», а на ее место внедрено моральное существование. Но в этом конфликте государство может опираться на меньшинство, не подвластное страстям и эгоистическим аффектам. В предельном варианте, всеобщая воля оказывается в руках одного человека.

Вторая уловка – придание морального характера всеобщим (народным) воле и интересу. Одним народам присуща доброта, а потому свобода (обретение всеобщей воли) для него просты. Другие народы испорчены, а потому даже наличие всеобщей воли оставляет их в рабском состоянии. У доброго народа есть право на революцию, у рабского – нет права на восстание даже против тирана. И если политический противник «не добр», то он подлежит либо обезвреживанию, либо насильственному принуждению, которое позволяет эгоисту разбудить в себе гражданина. Если испорчено большинство, то меньшинство может прибегнуть к террору – уничтожить «несвободных». Так забота о свободе народа обращается в его полную несвободу, если некто определит, что народ «испорчен». Решает задачу «заставить быть свободным» либеральная тирания. Впрочем, к этому случаю Руссо не применяет подобных терминов, описывая экстраординарные случаи в духе Локка: необходима гибкость законов, неформальность подхода в конкретных обстоятельствах, в непредусмотренных законом случаях и т.д.

Шмитт отмечает близость Руссо к коммунистической доктрине: «Рассуждения Руссо, пусть и иным путем, ведут, однако, к тому же результату, что и рассуждения Мабли. Руссо различает два вида диктатуры: диктатура в собственном смысле слова, при которой законы молчат, и другая, состоящая в том, что различные компетенции, наличествующие в соответствии с действующими законами, сводятся воедино, т.е. в рамках исполнительной власти происходит концентрация, причем в остальном правовая ситуация остается неизменной». «Правовая защита, обеспечиваемая регламентированием и разграничением компетенций, полностью игнорируется, а упразднение всей череды инстанций и до предела ускоренное судопроизводство не считаются диктатурой, ведь во всеобщей воле ничего не меняется, просто в рамках исполнительной власти происходит ускорение и ужесточение действия той силы, которая, как и прежде, исполняет один и тот же закон. Подлинная диктатура состоит, таким образом, лишь в том, что действие совокупного законосообразного порядка на время приостанавливается. О том, на какой правовой основе покоится это бесправное состояние, Руссо ясно не говорит; он не воспользовался случаем развить здесь диалектику самого себя приостанавливающего права. (...) Каким образом всеобщая воля в исключительном случае приостанавливает сама себя, остается загадкой, равно как, впрочем, и то, откуда исполнительному органу взять полномочия для такого приостановления».

Диктатура у Руссо принадлежит исключительно исполнительной власти. В ней нет никакого правового основания, и она сама не производит никаких законодательных изменений. Диктатура в этом случае – всего лишь «важное поручение». Демократия при «общей воле» представляет собой только обязанности, но никак не права. Чиновник, осуществляющий диктатуру, вовсе не посягает на право. Откуда при этом берутся его полномочия, остается неясным. Тем самым руссоизм полностью отражает формат безответственной «диктатуры» (то есть, тирании), в условиях которой мы многие годы живем в Российской Федерации.

Некий «общественный договор» считается состоявшимся (в РФ в 1993 году), после чего происходит только его реализация – «раскрытие» конституционных норм помимо всякого закона. И даже без обращения к тексту Конституции. Ибо никаких договоров об условиях подчинения и господства уже не нужно. Считается, что суверенный народ уже нечто поручил исполнительной власти, и та действует «по

поручению», включая выступление с законодательными инициативами, против которых нельзя иметь никаких возражений. «Общая воля» диктует непреклонность, невозможность каких-либо прав перед лицом суверенного народа, выраженного в полномочиях высших должностных лиц.

В модели Руссо даже монарх может действовать только как «комиссар», осуществляющий волю народа. «Воля эта не делегируется и не репрезентируется, и в еще меньшей мере может существовать право на осуществление воли. Представители и депутаты народа, если они вообще есть, тоже являются всего лишь комиссарами. В исполнительной власти представители должны существовать, но эта власть есть лишь лишенная собственной воли «рука» закона и по сути своей – тоже лишь поручение (commission)».

Кто же дает все эти поручения? У Руссо появляется фигура законодателя – некоего мудреца и даже гения, который проектирует закон, который одобряется (или нет) всеобщей волей на референдуме. При этом мудрый закон (соответствующий всеобщей воле) будет одобрен только в том случае, если соображения партикулярной выгоды, которой следует большинство людей, будет устранено другим мудрым законом. В начале цепочки неизменно оказывается нечто потустороннее – авторитет божественной миссии, вдохновляющей законодателя на первый мудрый закон (например, на Конституцию 1993 года).

Шмитт улавливает противоречие: «Что произойдет, если голосование обернется против мудрого закона и величия души? Руссо об этом не говорит, он только повторяет, что законодатель – это совершенно экстраординарная фигура, не магистрат и не суверен, а собственного говоря – ничто, поскольку он еще должен сперва сконструировать само то государство, с возникновением которого вообще только и возникают впервые такие понятия. Поэтому статус его не может быть определен в рамках государства, которое еще только должно быть сконструировано».

Противоречие разрешается вполне рационально: если чудо предьявить невозможно, то оно организуется – например, путем фальсификации изначального «акта творения» государства (на референдуме или на первых выборах). Получается не диктатура, а полный ее антипод – тирания.

Снова обратимся к Шмитту: «Содержанием деятельности законодателя является право, но без правовой силы – безвластное право; диктатура – это всевластие без закона: бесправная власть. Оттого что эта антитеза не была осознана Руссо, она не становится менее значительной. Здесь противоположность между безвластным правом и бесправной властью уже настолько велика, что может быть перевернута. Законодатель стоит вне государства, но в сфере права, диктатор – вне права, но в государстве. Законодатель есть не что иное, как еще не конституированное право, диктатор – не что иное, как конституированная власть. Как только возникает связь, позволяющая наделить законодателя диктаторской властью, создать законодателя-диктатора и издающего конституцию диктатора-законодателя, комиссарская диктатура превращается в суверенную».

Иными словами, в начале славных дел государства у Руссо оказывается некое лицо, которое наделено двойственной природой: оно учреждает право без всяких на то оснований, оно присваивает власть без всяких на то оснований, его правовой статус по его же решению лежит вне создаваемого им права и т.д. Что это, если не явление абсолютного насилия и абсолютной лжи? На насилии и лжи возникает государство, руководимое «всеобщей волей» и управляемое мудрыми законами, источаемыми этой волей. Картина ночного кошмара и логического абсурда!

Учредительная и суверенная диктатура

Европейские представления об источниках права чаще всего опираются на некое «естественное право справедливости», что на самом деле стоило бы называть просто «обычаем». Обычай появляется до государства вместе с обществом, и лишь выделение центра принятия решений (вовсе не «общей воли», а воли отдельной персоны – «отца нации», вождя) начинает формироваться право.

Гоббс связывал право только с государством, а до государства никакого права признавать не стал. Его исходная посылка аналогична Руссо: индивиды полностью разобщены. Только у Руссо образованию государства способствует «доброта» частных персон, из которой, якобы собирается «общая воля», а у Гоббса, напротив, частные персоны «злы» и враждуют непримиримо, пока внешняя сила государства не поставит их в положение подданных и не снабдит правом. У Руссо выживание общности связано с «добром», у Гоббса – со «злом», которое диктует необходимость образование аппарата насилия.

У Руссо законодатель-мудрец что-то такое знает, чтобы угадывать «общую волю». У Гоббса государство зарождается мрачно и сурово: авторитетом, который может быть вообще вне всякого знания об истине. Он не ищет истины, а раздает приказы и определяет поведение подданных. Причем так, что граждане обязаны принимать закон не только под угрозой наказания, но и в порядке признания за ним высшей нравственной силы, вне которой нет и не может быть никакого долга совести. Даже все частные права даруются только государством. Включая частную собственность.

Получается, что появление государства, какие принципы ни закладывая в его последующее существование, образуется волевым актом и режимом суверенной учредительной диктатуры. Как только государство образовано и основополагающие права утверждены, диктатура может быть отменена.

Шмитт приводит слова Эмиля Ласка о том, что суверенный диктатор – это «повелитель, назначенный Богом», «по форме – тиран и узурпатор, который сначала формирует человека, а затем вновь превращает притесненного в своего судью» (это чрезвычайно важное описание представления о суверенной диктатуре); человечество, «как противящаяся природа», «без всякой пощады и сожаления, все равно, понимает оно это или нет, принудительно ставится под владычество права и высших усмотрений». Шмитт пишет: «Суверенная диктатура весь существующий порядок рассматривает как состояние, которое должно быть устранено ее акцией. Она не приостанавливает действующую конституцию в силу основанного на ней и, стало быть конституционного права, а стремится достичь состояния, которое позволило бы ввести такую конституцию, которую она считает истинной конституцией».

Нет смысла говорить о приостановлении, когда задача состоит в том, чтобы заменить Конституцию другой Конституцией или эквивалентным ей набором законов. Набор акций для этой цели может имитировать разрешение локальных задач. Но если происходит переучреждение государственности (с логичными отсылками к правопродолжению или правопреемству), то дифференцировать политический процесс на отдельные акции уже нет никакого смысла.

Шмитт пересказывает набор стандартных умозаключений из либеральной теории государства, которые сконцентрированы в трудах Г.Еллинека: государство – совокупность функций его органов, государство не субъект своих функций, государство всегда выступает в форме определенной компетенции, компетенция есть форма правления государства, государство всегда выступает как ограниченная власть... Шмитт иронизирует: в таком случае государство есть носитель единства его

органов – такой носитель, который ничего не может на себе нести, за него все несут органы.

Следствием такой кастрации понятия государства является превращение конституции в «спящего бога», удалившегося от хлопот и мелочных проблем людей. При том, что народ вправе учредить в любой момент новую конституцию, но при этом конституция от воли народа независима, поскольку является основным законом. Затронув этот закон, народ развалил бы государство, поскольку лишил бы всяческой компетенции государственные органы. А те в свою очередь не могут касаться конституции и законодательства вообще, поскольку на них основаны их полномочия. На деле (в России – в особенности) мы видим, что либеральные благоглупости – это только риторика. Менять и попирать бюрократия может все, что ей вздумается. При этом за народом остается учредительная власть, которой он не пользуется (точнее, в принципе не может воспользоваться), а конституцию всегда можно трактовать, как заблагорассудится чиновнику. Государство сохраняется, и при этом считается демократическим.

Если государство образует органы и состоит из них, то возникает та же проблема, что и в руссоизме: каким образом создается первый орган государства? Государства еще нет, а учредитель первого органа уже существует. В рамках модели Еллинека этот вопрос остается неразрешимым.

Столь же проблемной является теория нации и ее учредительной функции, предложенная Сийесом. Здесь нация, а не государство, учреждает новые органы и разрушает старые. Нация имеет сверхправовую ценность и может желать чего угодно; ее воля в правовом смысле имеет ценность не ниже, чем положения конституции. При этом любое воплощение воли нации (то же, что и всеобщая воля у Руссо), не определяется организационными формами, которые не в состоянии исчерпать и окончательно выразить волю нации. Нация оказывается неким подобием перманентной диктатуры, которой любой правовой акт может быть отменен и заменен другим. «Нация становится неограниченным и не допускающим никаких ограничений обладателем *Jura dominations*, которые не надо даже ограничивать случаем крайней нужды. Она никогда не учреждает самое себя, но всегда только что-то другое. Поэтому ее соотносительность с учреждаемым органом не является обоюдосторонней правовой соотносительностью».

Объяснение такой модели нации Сийес находит в концепции естественного состояния: «нация всегда пребывает в естественном состоянии». При этом предельная атомизация индивидов, свойственная пониманию Руссо, в данном случае не используется. Тогда единственным свойством нации является некое общее свойство индивидов (снова нечто подобное «общей воле»), которое определяет ее отношения к собственным конституционным формам и органам, выступающим от имени нации. «В естественном состоянии находится только нация, у нее есть только права и никаких обязанностей, учредительная власть ничем не связана; напротив, учреждаемые власти имеют только обязанности и никаких прав. Достопримечательный вывод: одна сторона всегда пребывает в естественном состоянии, другая сторона – в правовом (точнее, в состоянии, связанном обязательствами)». Выходит, что воля нации – это некое «доправовое» право, принцип формирования всех правовых принципов.

На практике оказывается, что депутаты учредительного собрания 1789 г. только репрезентируют «властный мандат». Но одновременно они же еще только должны «сформировать» общую волю. Тем самым теория входит в противоречие: надо одновременно и «репрезентировать» волю и «сформировать» ее.

Сийес понимал, что в современном государстве, в отличие от античного, только малая часть людей с формально равными правами имеет досуг и свободу для

занятия политическими делами. Соответственно «воля нации» формируется меньшинством. Примерно как у Руссо только добрые люди допущены к формированию «общей воли». Только у Сийеса роль меньшинства носит объективный характер и не требует оформления рассуждениями о морали.

Совсем не всеобщее представительство формирует волю нации, а представительство меньшинства, которое должно угадать эту волю. В результате «воля может быть неясна. Она даже должна быть неясной, если учредительная власть сама действительно не может быть учреждена». Тем не менее, зависимость государственных органов (в форме поручения комиссарам субъекта этой пока еще смутной воли) остается. Что фактически означает диктатуру, из которой только и может кристаллизироваться понимание воли нации и основанное на ней право. Бесформенная (бесправная) власть образует формы государственной жизни. Шмитт отмечает, что такой подход полностью противоположен рационализму XIX в.

Смутность общих (правовых) представлений о воле нации компенсируется конкретностью поручения, исходящего от народного представительства. В идеальной форме оно подобно военному приказу, в котором может отсутствовать определенная правовая форма, но есть точность «ситуативной техники». Продолжая эту мысль, Шмитт отмечает, что «исполнение комиссарской должности тоже подчинено идее конкретной деятельности, вмешивающейся в причинно-следственные взаимосвязи. Безусловная комиссарская зависимость представителя включала в себя, собственно, и «властный мандат». Но Сийес не вывел это следствие, основываясь на том, что в содержательном отношении воля народа не выражается точно. Воля касается, таким образом, только личности представителя и решения о том, должно представительство существовать или не должно. В действительности воля и не может быть точной: как только она принимает ту или иную форму, она перестает быть учредительной и сама оказывается учреждена».

При смутности изначального состояния, в котором учреждается государственность, единственным внятным поручением для комиссаров учредительной власти может быть только выявление учредительной воли (прояснение неясного). То есть, конституционный проект. Иначе говоря, Конституция не может быть принята экстраординарными исполнителями общей воли без диктатуры, в которой исполнители обладают неограниченными полномочиями и лишь угадывают общую волю в меру своего понимания. В случае ошибки, разумеется, всегда найдутся другие комиссары, которые оттеснят первых. Такая закономерность отражена в утверждении, что «революция пожирает своих детей».

Как только появляется допущение о возможной ошибке экстраординарных представителей и затруднениях в выражении общей воли (учредительной власти народа), как диктатура приобретает не моментальный (в момент учреждения государственности), а протяженный характер. И тогда у экстраординарных представителей появляется еще одна очевидная задача: устранение препятствий для учредительной власти. Но в силу смутности учредительной воли, она может трактоваться разнообразно.

Может случиться и так, что к осуществлению учредительной власти народа возникают препятствия, и положение дел требует в первую очередь устранить эти препятствия, чтобы было нейтрализовано противодействующее власти давление. В силу внешнего давления и применения искусственных средств или в условиях всеобщей путаницы и беспорядка свободная воля народа может перестать быть свободной. Здесь нужно различать два случая.

Смутность народной воли возникает не только в силу ее природы, но и в силу самого экстраординарного положения. Свободный выбор предполагает, что у народа есть возможность сравнить прежний и новый режим. Но в революции прежний режим уже

не существует, а новый еще не образовался. Более того, новый конституционный порядок предлагается народу меньшинством, которое обладает силой и этой силой навязывает новый конституционный акт. А народ принимает (или не принимает) не столько этот акт, сколько силу, его представляющую. Выходит, что власть народа, выступающая по виду как учредительная, оказывается сама зависимой и в какой-то мере учреждена меньшинством, обладающим силой и волей к такому учреждению. Причем, окончательное учреждение может быть обнаружено только постфактум: когда прекратится цепочка революционных переворотов, отменяющих предварительные учредительные акты. Что мы и видим на примере России с достаточной ясностью.

Все трудности теории учредительной диктатуры связаны с тем, что в качестве суверена пытаются представить абстракцию «общей воли» или «воли народа». Они моментально снимаются, если сувереном выступает монарх или аристократия. Всякая «народная» учредительная власть может рассматриваться только как переходная. Суверенная диктатура предполагает суверена – ясно очерченный субъект. В этом случае переходный процесс связан только со становлением служилого сословия. Называя его «бюрократией», Шмитт пишет: «...суверен мог утвердить свой абсолютизм только вместе с формированием и консолидацией чиновного аппарата. Благодаря этому комиссар и превратился и ординарного чиновника. Вместе с суверенитетом государя стабилизируется и его бюрократия».

Политической теории никак не обойтись без суверенной диктатуры в момент зарождения государства и права. И никак не обойтись без монархии при рассмотрении суверенитета. По сути, монарх и революция являются антиподами: монарх проводит суверенную диктатуру законно и стабильно, а любая форма демократии – только через революционное насилие, совершаемое в многоактной кровавой драме. Монархия в силу своей природы не нуждается в диктатуре, революционным образом созданная республика требует перманентной тирании. Тирания же может быть прекращена в рамках республики только через диктатуру – введением в действие монархического принципа.

Статус чиновника: диктатура и тирания

Шмитт настойчиво сравнивает понятие диктатуры с понятием необходимой обороны. Поскольку нападение может быть технически самым разнообразным способом, то и самооборона не описывается в технических деталях: «Как при необходимой самообороне, если налицо предпосылка, т. е. непосредственное противоправное нападение, то можно предпринять все меры, необходимые для его отражения, и никакое содержательное представление о тех мерах, которые дозволяется принять, не лежит в области правового регулирования, поскольку последнее не дает описания фактических обстоятельств, а только указывает на то, что требуется для обороны, – точно так же, если уже имеют место вышеупомянутые предпосылки для действий экстренной надобности, начинаются и требуемые положением вещей действия. Но поскольку суть права на необходимую самооборону состоит, далее, в том, что решение о предпосылках противоправного действия принимается в силу совершения самого этого действия, что, стало быть, не может быть учреждена инстанция, которая до применения права выполняла бы формальную юридическую проверку на предмет того, имеются ли предпосылки для необходимой самообороны, то и здесь, в доподлинно экстренном случае, тот, кто совершает вынужденное действие, оказывается неотличим от того, кто решает, наступил этот экстренный случай или нет».

Диктатура различается содержанием в зависимости от положения дел. Все разнообразие возможных исходных состояний (которые диктатура должна устранить, и в этом состоит ее задача и ее правомочие) невозможно ни учесть, ни

классифицировать. За исключением разделения на суверенную (учредительную) и комиссарскую (акционную) диктатуру.

Если суверенная диктатура пересматривает конституционный порядок целиком и учреждает государство заново (в отличие от революции, диктатура возрождает некую традицию, извращенную правом и правоприменителями), то комиссарская «упраздняет конституцию *in concreto*, чтобы защитить эту же конституцию с ее конкретным содержанием». При этом диктатура всегда направлена не на разрушение правового порядка, а на его сохранение. «Подобно самообороне диктатура всегда является не только действием, но и противодействием. Поэтому она предполагает, что противник не придерживается тех правовых норм, которые диктатор считает определяющими в качестве правового основания».

Понятие суверенной диктатуры плотно связано с проблемой определения понятий «суверенитет», «государственный суверенитет» и «суверен». Суверенен ли диктатор? Этот вопрос, впервые поставленный Жаном Боденом, разрешается в двух типах диктатуры различно. Если диктатор является назначенцем, то он не суверенен; он является только комиссаром суверена. В то же время, он действует так, как действовал бы сам суверен, замещает суверена в конкретной ситуации. «В интересах цели, достигаемой диктаторскими действиями, сам диктатор получает полномочия, существенное значение которых заключается в устранении правовых барьеров и в дозволении вмешиваться в права третьих лиц, когда таковое вмешательство необходимо судя по положению дел». Собственно, такое вмешательство и есть полномочие диктатора, переступающего через регулирование общим законом. И его Шмитт называет «комиссаром действия», то есть, комиссаром с особым статусом – фактическим представлением интересов суверена во всей его полноте, но в ограниченной сфере приложения и на ограниченное время.

Боден, сравнивая правовой статус ординарного чиновника (*officier*) и комиссара (*commissaire*), продемонстрировал, что первый – это «публичное лицо», которому доверен описанный в законе круг задач, а второй – тоже публичное лицо, но с экстраординарной задачей, определяемой только поручением (указом). Особенность службы комиссара состоит в том, что он полностью зависит от «заказчика», его полномочия в любой момент могут быть отозваны. Ординарный чиновник имеет статус, защищенный законом, следовательно, и большую свободу действий, большую независимость от суждений суверена. «В силу того, что основанием деятельности ординарного чиновника выступает закон, он оказывается более независимым от суверена, который ничего не может изменить в содержании этой деятельности, не отменяя закона, в то время как комиссар, подобно частному уполномоченному, во всякой мелочи остается зависимым от указаний заказчика». (...) Можно даже сказать, что связанность законом только и делает чиновника независимым, и эта независимость тем шире, чем больше он занят исключительно применением закона к тому или иному отдельному случаю».

Шмитт иллюстрирует положения теории Бодена, которые противопоставляли верховные полномочия, покоящиеся на законе (*lex, constitutio*), и полномочия, основанные на поручении (*commissio*). Это сравнение давалось на примере деятельности папских легатов в XIII в. «Где бы ни появлялся папский легат, он всюду распоряжался чинами, посвящал в сан епископов, инспектировал и реформировал церкви и епархии, решал спорные вопросы веры и дисциплины, издавал всеобщие уставы. Правовое основание этих обширных полномочий строилось таким образом, что все, что делал легат, рассматривалось как предпринимаемое самим папой, за которым сохранялось и право отзыва». «Благодаря легатам папа становится вездесущ. Рим – это общая для всех отчизна. На этом и основана универсальная компетенция папы. Это папское право не оспаривается, оппозиция борется только со злоупотреблением общепризнанным правом и хочет ограничить его применение случаями, когда это действительно

необходимо». «Основой правового строения всех административных полномочий остается, конечно, идея личного представительства и заместительства, и ходящая в замкнутую, взаимосвязанную систему личных представительств, венчаемую лицом, занимающим несомненно высшее понижение. Папа сам является «викарием Христа» (*vicarius Christi*) и именуется также его комиссаром. Таким образом, определяющим в этом правовом воззрении является представление о личности Христа». И таким образом «папская диктатура» оказывается основанной на «божественном праве» и чужда всякой «общей воле». Такое положение могло иметь место и в монархических государствах, где власть императора освящена Церковью, но не могло обнаруживаться в республиканских режимах.

Из российской истории мы знаем, что парламент образца 1990 года после государственного переворота, совершенного Ельциным в 1991 году, предоставил ему исключительные полномочия – управлять страной указами, не обращая внимания на законы. Фактически это были диктаторские полномочия, которые потом обернулись против того же парламента, попытавшегося отозвать свое решение и отрешить Ельцина от должности. Диктатор стал тираном, переступив и через суть данного ему экстраординарного поручения, и через «общую волю», реализованную в народном представительстве. Ельцин стал самозванным сувереном, и сам раздавал комиссарские поручения, включая противозаконные и попросту абсурдные. Что привело страну к хаосу – развалу экономики, разгулу криминала, тотальной коррумпированности чиновников.

Все эти болезни общества вместе с тираническим суверенитетом унаследовал Путин, которому удалось несколько смягчить ситуацию за счет резкого взлета цен на энергоносители, что позволило в течение некоторого времени наполнять бюджет и раздавать деньги на социальные нужды. И в его правление произошел процесс, обратный тому, который происходит при утверждении монархического абсолютизма в Европе. Если становление иерархически организованной власти превращало экстраординарного чиновника в ординарного, то в условиях либеральной демократии в России, напротив, чиновник всюду получил экстраординарные возможности как «локальный суверен», которому для сохранения своего статуса достаточно непрерывно демонстрировать лояльность тираническому режиму и совершать вклад в общий коррупционный доход властной пирамиды. Собственно, реализован принцип: «не коррумпирован – значит, нелоялен».

Российская ситуация позволяет сделать дополнительный вклад в теорию диктатуры. Мы видим, что формальные элементы диктатуры в условиях правления Ельцина и Путина налицо. Но отсутствует важнейший компонент – задача устранения исходного положения дел и цель, которая достигалась бы экстраординарными мерами. Напротив, экстраординарными мерами исходное положение сохраняется.

Как пишет Шмитт, «диктатура не может быть ординарной службой и «постоянной функцией» (*munus perpetuum*). Если бы она приобрела «постоянный характер (*trait perpetuel*), то диктатор не только обладал бы правом на свой чин, но стал бы сувереном и уже не был бы диктатором». Но самое существенное состоит в том, что у такого режима нет ни одной формальной санкции: ни от демократического большинства, ни от аристократического представительства, ни от изначальной воли суверена. Тем самым, мы можем говорить только о тирании, но не о диктатуре.

Учитывая, что тирания есть «неправильная форма» государственности, а диктатура – «техническое решение» суверена, то логично обозначить в применяемом термине инструментальный момент. В этом случае (также в применении к американской ситуации времен Буша-младшего) применяют скорее публицистический термин «либеральный фашизм» или более близкий к науке термин «анархо-тирания». В данном случае «анархо-» подчеркивает отсутствие «царя в голове» – цели, исходящей от «иерархов», которая воплощается в законе, а реализуется через

диктатуру. В случае складывания суверенного государства – через национальную диктатуру.

Диктатура относится к правлению неустойчивому, переходному: «...понятию диктатуры, по-видимому, нет места в такой системе, где все сводится к простому «или-или»: право или бесправие, закон или деспотизм, согласие народа или насилие». Бесправие, деспотизм и насилие, конечно, еще не достигли в России уровня ужасных режимов латиноамериканских «горилл» или индокитайских «красных». Но по меркам европейской политической культуры режим Ельцина-Путина вышел за рамки диктатуры и утратил какую-либо правовую основу (если вообще когда-то ее имел).

Современное состояние власти в России напоминает Реставрацию во Франции, когда власть – обладатель суверенитета – вводила чрезвычайные решения не ввиду необходимости подавления противника и не с целью учреждения новой правовой системы, а лишь исходя из задач поддержания самоё себя и напоминания о том, что суверенитет в данном случае выражается как раз в нарушении законов и конституции. Обоснование таких нарушений (явных и неявных) всегда связывается с поддержанием безопасности существующего строя, но также выдается за следование пользе подданных. Тем самым, говорить о диктатуре невозможно. Диктатура восстанавливает законность, переступая через формальности законодательства; тирания (абсолютистская или бюрократическая) пренебрегает законностью именно с целью демонстрации неограниченности своей власти и неподвластности каким-либо соображениям права и справедливости.

Диктатура против мятежа

В боденовские времена слово «диктатор» применялось для обозначения независящего от вмешательства прочих должностных лиц высшего военного командования. При этом очевиден комиссарский характер поста верховного главнокомандующего: все его распоряжения имели такую же силу, какую имели распоряжения самого императора. Но в случае наемного войска положение иное: «военачальник не осуществляет никаких суверенных прав, а потому и не является комиссаром, ведь помимо вверенной ему военной юрисдикции в отношении собственных солдат он не имеет никакой власти, направленной вовне, против подданных государства или правительств других стран».

Тем самым, наемная армия не может осуществлять мероприятия диктатуры, направленные против мятежей, и для этого у армии и полицейских сил должен быть другой статус. Законы о мятежах при королеве Анне и Георге I позволяли короне объявлять военное положение, но лишь на время войны и только за пределами страны. Только во время лондонских волнений 1780 г. было установлено, что «с гражданскими лицами, застигнутыми с оружием в руках, нужно обращаться так, как будто они сами поставили себя в контекст военного права». Для ситуации мятежа и вводится «Марсов закон» (отличный от законов военного времени): «своего рода незаконное состояние, при котором исполнительная власть, т. е. осуществляющая свое вмешательство армия, может без оглядки на рамки закона действовать так, как того в интересах победы над противником требует положение дел. В этом смысле право войны, несмотря на то что оно так называется, является не правом, не законом, а такой процедурой, которой существенным образом довлеет фактическая цель и при которой правовое регулирование бывает ограничено точной формулировкой условий ее применения (требование гражданских властей, приказ к отступлению и т. д.). В качестве правооснования такого неправового положения признается то, что в таких случаях все прочие государственные власти парализованы и бездействуют, в частности не может продолжаться деятельность судов. Тогда в качестве замены (some rude substitute) вперед должна выступить

единственная все еще эффективная государственная власть, армия, и ее действия должны одновременно быть и самим приговором и его исполнением».

Разумеется, применение армии в условиях дееспособности гражданских институтов может расцениваться только как мятеж против существующего правового порядка. В этом смысле события 1993 года являются мятежом как раз со стороны ельцинистов, а вовсе не со стороны противостоявших им сил, имевших также далеко не правовые цели, но не реализовавшие их в применении вооруженной силы.

По сути дела, мятеж – столь же экстраординарное состояние, как и учреждение нового конституционного порядка. В этом смысле военная диктатура ничем не отличается от суверенной и может различаться лишь перевесом насильственных методов над всеми прочими. Военная диктатура с беззаконием не имеет ничего общего. Между тем «правосознание, для которого разделение властей вообще тождественно состоянию правового государства, воспринимает закон о военном положении как отмену разделения властей и его замещение приказами военачальника». В действительности военная диктатура не попирает права. Она представляет собой «насилие, которое может не оглядываться на правовые обстоятельства, но служит государственным интересам» и в силу своей природы не может быть облечена в правовую форму. Как не может быть правовым решение солдата, «соображающего, является стоящий напротив человек его врагом или нет. Ведь солдат тоже оценивает происходящее с юридической точки зрения и приходит к тому или иному суждению, но никто не скажет, что он убивает врага на основании вынесенного по сокращенной процедуре и подлежащего незамедлительному исполнению приговора». Видимость правовой формы, например, в революционных трибуналах не затрагивает сущности диктаторских решений, которые лишь решают, как уничтожить или устранить политического противника, а не обосновать свое решение действующей нормой закона.

Во времена Путина при отсутствии мятежей в Центральной России судебные процедуры зачастую превращались в революционные и направлялись не законом, а целесообразностью. Очевидное беззаконие при судебных расправах с оппозицией, очевидная зависимость московских судов от содержащей ее столичной бюрократии – все это по форме напоминает условия диктатуры. Но при отсутствии мятежа применение таких «инструментов» свидетельствуют, что мятеж осуществляется именно теми, кто эти «инструменты» утвердил. Перманентное состояние мятежа бюрократии мы вынуждены называть «тиранией», не имея для этого более подходящего термина.

Рассматривая французское законодательство, Шмитт отмечал, что военная диктатура может предусматривать «расстрел на месте» даже если речь не идет о военном положении. В условиях мятежа в обязанность гражданина вменяется «догнать и пристрелить» преступника, поставленного вне закона, – бежавшего дезертира, солдата, проявившего трусость перед врагом, предателя. «Расстрел виновника может расцениваться одновременно как сентенция и экзекуция, как вынесение приговора и его исполнение». Тем же пользуется и революция. При этом в революции военный аспект управления подчиняется политическому: военные не должны рассуждать, а принимать решения могут только революционные власти. В условиях военного положения такое распределение ролей удержать невозможно. Поэтому при окончании войны возникает проблема изменения статуса военного командира и очень непростые взаимоотношения между гражданской и военной властью.

Германское законодательство середины XIX века также предусматривало меры против мятежей. Они были оформлены в правовом регламенте осадного положения. Этот регламент был разработан на случай войны и предусматривал упразднение конституционных гражданских свобод. Полагалось в случае необходимости специальным определением обнародовать перечень прав, которые отменялись на

время чрезвычайных обстоятельств. Кроме того, прямо перечислялись полномочия военного командования: производить обыск, высылать подозрительных лиц, конфисковывать оружие и боеприпасы, запрещать публикации и собрания. Тем не менее, оставалась обширная сфера правового регулирования, в которую военное командование не смеет вмешиваться.

В дальнейшем регламент осадного положения расширился и приобрел политические черты, захватывая также и право собственности, личную свободу и свободу печати уже не военного, а политического противника.

Немецкая Конституция 1919 года предусматривала введение чрезвычайного положения – возможность учреждения президентом не ограниченной в правовом отношении комиссии и специально уполномоченных комиссаров.

В отличие от диктатуры военного типа, которая имеет склонность к расширению сферы своей деятельности, в данном случае мы видим пример строго ограниченной комиссарской диктатуры. Наделение неограниченными полномочиями вовсе не означает упразднения существующего правового порядка у целом и передачу суверенной власти рейхспрезиденту. Чтобы подобный переход был осуществлен, понадобился бы государственный переворот, революционная тирания. В то же время, как отмечает Шмитт, в положениях о чрезвычайном положении имелись и признаки суверенной диктатуры: сначала предполагается возможность приостановления любых прав и свобод, а затем некоторые из них перечисляются в исчерпывающем списке.

Путаница между суверенной и комиссарской диктатурой, как можно понять, дорого обошлась Веймарской Германии и способствовала утверждению у власти Гитлера и его партии. Переворот, совершенный Ельциным в декабре 1991 году («ропуск» СССР) не имел никаких правовых оснований, отчего должен рассматривать как мятеж группы чиновников. По сути дела, восстановление суверенитета России означает репрессии против тех, кто планировал и воплощал в жизнь мятеж бюрократии или пользовался его плодами.

Трудно представить себе возвращение России к правовому порядку без введения чрезвычайного положения – национальной диктатуры, необходимость которой прозорливо предсказывал Иван Ильин.

Заключение

Книга «Диктатура» относится к ранним произведениям Карла Шмитта, и в ней есть много неясного, скрытого за множеством хаотично включенных в анализ правовых актов. Тем не менее, уже в этой работе Шмитт приходит к фундаментальной идее о том, что сущность государства связана с экстраординарными моментами его существования или с моментом его учреждения: «Если суверенитет это действительно всевластие государства, а таков он для любого конституционного устройства, при котором разделение, т. е. разграничение властей, не доводится до конца, то правовое регулирование охватывает только вполне определенное содержание осуществления власти, а не субстанциальную полноту ее самой. Вопрос о том, кто распоряжается ею, т. е. кто принимает решение в случаях, не регламентированных в правовом отношении, становится вопросом о суверенитете».

При этом переход к диктатуре – это легитимное решение, правовой способ прекращения действия права в определенном секторе регулирования и на определенное время. Также этот переход предусматривает и возвращение в прежнее положение, когда экстраординарное положение преодолено. Тем самым, правовой характер введения ограничений отмечает суверена. Если же ограничения введены

помимо права, мы должны говорить о мятеже, узурпации власти, а не о суверене. В полной мере это относится к действиям Ельцина и Путина в современной России. Чрезвычайное положение введено ими помимо права и даже без сообщения о том, что с какого-то момента права граждан ограничены или отменены. Тем самым, неправовое регулирование жизни государства и обществе введено как постоянно действующее правило, которое стало обычным и действует как болезнь, убивающая организм нации.

Диктатура не опровергает права. Его опровергает мятеж и узурпация – становление тиранической формы правления, в которой правовому регулированию остаются самые незначительные отношения между людьми, а государство как таковое лишено суверенитета – открыто как проходной двор для авантюристов и изменников.

Русский Интеллектуально-Познавательный Ресурс
«ВЕЛЕСОВА СЛОБОДА»



Если вы хотите автоматически получать информацию о всех обновлениях на сайте, подпишитесь на рассылку --> [Новости сайта Велесова Слобода](#).